

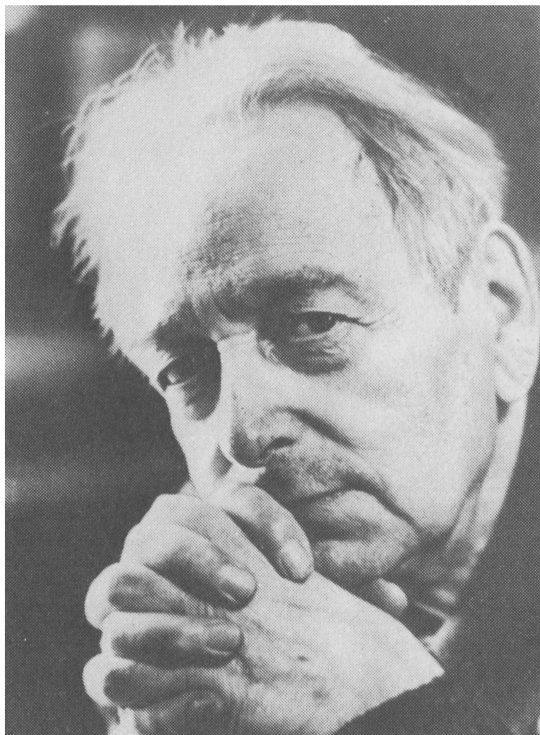
БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

МОСКВА

ISSN 0132-2095

№ 39 1991



Лев РАЗГОН

ПЕРЕД РАСКРЫТЫМИ ДЕЛАМИ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 39

Издается с января 1925 года

Лев РАЗГОН

ПЕРЕД РАСКРЫТЫМИ ДЕЛАМИ

Москва. 1991

Лев РАЗГОН

Лев Эммануилович Разгон родился 1 апреля 1908 года в г. Горки Белорусской ССР. С 1922 года живет в Москве. Окончил в 1932 году Исторический факультет МГПИ. Литературную работу начал в конце 20-х годов как редактор, критик и публицист в детской и юношеской литературе.

В 1938 году был арестован, провел много лет в тюрьмах, лагерях и ссылке. Освобожден и реабилитирован в 1955 году. Автор многих книг, посвященных исследованию детской и юношеской литературы. («Волшебство популяризатора», «Живой голос науки», «Зримое знание», «Мир, в котором дети — не гости», «В. Ян», а также повестей о жизни выдающихся русских ученых: «Шестая станция», «Один год и вся жизнь», «Сила тяжести» и др.)

В 1987 году в журналах «Огонек» и «Юность» начали печататься автобиографические рассказы «Непридуманное», темой которых были годы сталинского террора. В 1988 году в «Библиотеке «Огонек» и издательстве «Книга» вышло отдельное издание «Непридуманного». Переведено на польский, немецкий, французский, греческий и др. языки.

«Перед раскрытыми делами» написано по материалам следственных дел, предоставленных автору КГБ.

ПЕРЕД РАСКРЫТЫМИ ДЕЛАМИ

...И вот я держу ее в руках. Эту тоненькую коричневую папочку. Ту самую. На ней еще остался бледный след от чернильницы, которую опрокинул, ударив кулаком по столу, мой следователь. Теперь я знаю, как его звали, — Лобанов была его фамилия. Сколько же прошло времени? Дай посчитаю: 52 года и 7 месяцев. Мог ли я думать тогда, когда Лобанов не спеша обминал эту новенькую коричневую папочку, что более чем через полвека я не только еще буду жив, но и с замирающим сердцем буду перебирать несколько бумаг, в ней находящихся?.. В этих бумажках жизнь моя, Оксаны, Елены — всех нас троих, исчезнувших с этого света в ночь на 18 апреля 1938 года. А вот и протокол моего, судя по делу, единственного допроса — 25 апреля. Значит, между арестом и этим допросом прошла целая неделя. Неделя, когда я еще жил мыслями о доме и верил, что дом этот существует.

А как она началась, эта неделя? Когда я кинулся к входной двери на пронзительный звонок в ночи, я уже знал, что это за звонок, я знал, что это за мной. Это был второй такой звонок в огромной многонаселенной квартире трехэтажного дома на углу Гранатного переулка. В доме этом — теперь чистеньком и приглаженном — помещается какое-то экзотическое посольство, кажется Ганы, и до сих пор я не могу спокойно пройти мимо него, не посмотрев на те крайние окна, за которыми мы жили.

Тогда, когда раздался первый ночной звонок, голубые фуражки пришли не за мной, а за старым и тихим артистом давно уже не существующего театра «Семперанте». И, запершись в нашей комнате, мы прислушивались к топоту ног в коридоре, к негромким голосам, к последним шагам к выходной двери, слушали, как она открылась и захлопнулась... Ну, а теперь, открыв дверь и увидев фуражки с голубым верхом и парочку красноармейцев с винтовками, я уже знал — это наша судьба... Фамилия, имя, отчество, дайте паспорт! — Вот вам все: и паспорт, и имя, и фамилия, и весь я. Уже не как хозяин, а временный, гость, приткнув-

шись на краешек стула, сижу и смотрю, как вытаскивается из ящиков белье, как потрошат книжные полки. И думаю: а что на них есть криминального? Чудом сохранившийся номер «Нового мира» с повестью Пильняка «Повесть непогашенной луны»; зарубежное издание воспоминаний Шалапина «Маска и душа»... Но мои размышления прерывает радостный крик одного из «оперативников» — Товарищ начальник! Антисоветская книга! Покровский «Мировая война»! — Начальник осторожно берет в руки найденную преступную книгу. Ну, да — ведь сейчас во всех газетах идет безудержная поносная ругань «Школки Покровского»... Начальник думает, начальник размышляет... Я не выдерживаю:

— Вы сегодня проходили по Моховой?

— Да, проходил. А что?

— На университетскую вывеску не обращали внимания?

— А что на ней?

— На ней написано «Московский Государственный университет имени М. Н. Покровского».

Это был мой первый тюремно-лагерный урок: никогда не вступать в спор с начальством, а главное — никогда не поправлять его... Ответ был немедленный: — «Собирайтесь!»

Оксана бросает маленькую Наташку, она лихорадочно начинает меня собирать. Нет, не лихорадочно. На улице теплая апрельская ночь, но она достает самый теплый и новый свитер, она собирает белье, укладывает пижаму, домашние туфли, еще какие-то мелочи...

— Ну, хватит! Ненадолго же едем, подержат немного и выпустят!

Но она все хлопочет, все цепляется и уже после того, как я со всеми попрощался, выбегает за мной на лестничную площадку. И по тому, как она отрывается от меня, вдруг понимаю: она не верит, что мы когда-нибудь увидимся... Так и не увиделись больше. Попрощались навсегда.

Но я еще не способен был это понять, мои мысли все еще дома. И когда меня выводят из подъезда, ведут к «эмке», стоящей немного поодаль, меня тревожит мысль: а вдруг они запечатают одну из двух наших комнат и всем придется ютиться в первой, маленькой... Меня везет сам начальник «операции» и я обращаюсь к нему:

— Я вас очень прошу: ребенок болен, не запирайте второй комнаты.

— Да не беспокойтесь вы! Вторую комнату печатывать не будем. Все останется по-прежнему, даю вам честное слово!

Это был первый случай, когда я узнал цену «честного слова» чекиста. Он отвез меня, вернулся назад, забрал и отвез Елену, а затем еще раз вернулся и забрал Оксану... Остался еще один член семьи. Но ей был один год и три месяца и ей предстояла не внутренняя, не Бутырки,

а тюремный «Дом младенца». Но и этого Наташа избегнула. Оксана, когда за ней приехали, сказала, что не выйдет из комнаты, пока не придет моя мать и не заберет ребенка; и что она будет бить стекла, кричать на всю улицу, драться, но без этого не пойдет никуда. И решимость этой беззащитной, двадцатидвухлетней больной женщины была столь очевидна, а устраивать скандал в глухую ночь на центральной улице оперативникам не хотелось, что, сбегав куда надо, позвонив куда надо, они вызвали по телефону маму и она забрала у Оксаны дочь. Тоже навсегда.

А комнату запечатали. И не одну, а две. И, как я выяснил из протокола, лежащего в старой коричневой папочке, было в этих двух комнатах 29 квадратных метров. Но тогда я еще ничего этого не знал. И думал об оставшихся, пока меня ночной Москвой везли к знакомому проклятому дому, и пока меня обрабатывали: обыскивали, срезали шнурки и пуговицы, фотографировали, снимали отпечатки пальцев... А потом повели по коридорам и закоулкам, подвели к двери с тюремным глазком. Со звоном, навсегда оставшимся в памяти, открылась дверь, и я с трудом протиснулся через маленькую, из нескольких человек, толпу. В камере — натертые паркетные полы, стоят в ряд четыре железные койки, покрытые серыми, специфически арестантскими одеялами. Лишь на одной лежит, закинув руки за голову, обросший рыжей щетиной еще молодой человек. Остальные койки свободны, хотя у двери толпится человек пять-шесть. Немолодые, с вещами, запахнутыми в рубашку или кальсоны, поддерживая падающие штаны, они молча, не обмениваясь ни словом, неподвижно стоят у двери.

Я располагаюсь на свободной койке возле рыжего арестанта. Он с интересом следит, как я переодеваюсь, достаю домашние туфли...

— Что это вы так по-домашнему устраиваетесь? Вы разве сюда надолго?

— Наверное, надолго. А почему вы спрашиваете?

— Видите эту кучку идиотов у двери? Они так стоят уже часа два. Все ждут, что сейчас откроется дверь, перед ними извинятся и выпустят на волю... А тут вдруг встречаю нормального и разумного человека!

Мой рыжий сосед, по нынешним меркам, уже старый тюремный сиделец. Арестован три месяца назад в Куйбышеве, где работал помощником у нового Первого секретаря обкома, опального Павла Петровича Постышева. Вместе с хозяином забрали и его. Он уже прошел первые циклы допросов у провинциальных костоломов, а теперь привезен в Москву на «курсы усовершенствования» — как выразился этот, не расставивший ни юмора, ни иронии мой первый сокамерник.

Впервые от него я услышал о пытках. Услышал и моментально в это поверил. Ведь удивительно! За прошедший страшный год мы перебирали в уме все возможное и невозможное, что могло случиться

с нашими близкими; мы ломали голову над тем, как создавались смехотворно-неуклюжие «признания» обвиняемых на открытых процессах. Но вот это объяснение, такое простое — пытки — это ни мне, ни моим друзьям не приходило в голову. Как же в нас крепко, цепко сидело «советское», если мы ни сердцем, ни сознанием не принимали этого!..

Услышал и сразу же испугался: не узнали бы об этом дома... Для меня ведь еще существовал дом на Гранатном: наши тесные комнатки, полки с книгами, старый плюшевый диван, кровать с дочкой... Но очень много думать было некогда, моя тюремная жизнь катилась по хорошо наезженной, прорезанной в граните колее. Через два дня меня из «собачника» (так у нас называлась та часть «Внутренней» тюрьмы, куда привозили только что арестованных) с вещами вывели во двор, втиснули в зеленый, весело раскрашенный фургон и повезли. В «воронке» темно, мы распаханы вплотную по маленьким клетушкам, молчим, не видя друг друга, машина крутится по уже ставшими незнакомыми улицам, останавливается, мы слышим, как открываются ворота, мы въезжаем, останавливаемся и неумело, расправляя затекшие ноги и руки, вылезаем из нашего красивого фургона. Нас ведут в красный кирпичный подъезд и заводят в огромный, похожий на вокзальный, зал. Где мы? Но в первой же тюремной анкете, которую мы заполняем, есть вопрос: «Который раз находитесь в Бутырской тюрьме?». Следовательно, все ясно — мы в знаменитых Бутырках.

А потом... потом уже многожды описанное: душная, набитая камера, ночное пение открываемых дверей, куда выводят на допрос и откуда вносят после допроса; постоянное и почему-то нетерпеливое ожидание, когда это случится с тобой; и, наконец, та самая минута, когда, назвав твою фамилию и «инициалы полностью», тебе говорят: «соберитесь слегка», и выводят в широкий, не по-тюремному уютный коридор.

Первый поход по тюрьме. Впереди идет надзиратель, постукивая ключом по медной пряжке пояса — предупреждение, чтобы не встретиться с другим арестантом. Иногда команда: «встать лицом к стене!» — значит проводят такого же, как я... Потом лестницами, на верхний этаж, мы останавливаемся у плотных, обитых войлоком и кожей дверей, они открываются и мы заходим в оглушающий шум и крик «следственного коридора» Бутырской тюрьмы. Никогда в жизни не был на бойне, но почему-то мне показалось, что так именно и должна звучать бойня: глухие удары, крики боли, озверелый мат забойщиков... Меня подводят к одной из многочисленных дверей, выходящих в коридор, стучат, меня заводят в небольшую комнату, молча указывают на табуретку, стоящую у двери и прикованную к полу. Напротив меня молодой

и очень уверенный человек достает из груды лежащих на столе новеньких коричневых папок одну, и начинает ее разминать, дабы удобнее было ее заполнять бумагами.

Обо всем этом я вспоминаю сейчас, через 52 года и 7 месяцев, сидя в другом — очень уютном кабинете, раскачиваясь на модном крутящемся кресле, за огромным пустым полированным столом. Меня никто не торопит, приведший меня сюда тихий молодой человек молча сидит в углу и наблюдает за соблюдением мною порядка, могу читать, могу даже переписывать что хочу, но не приведи Бог вырвать из «дела» какую-нибудь бумаженцию!

А что, собственно, вырывать? В этой тонюсенькой папочке так называемые «следственные дела» всех нас троих: меня, Оксаны и Елены. И даже то, что служит первым и главным основанием к аресту, допросам, суду, каторге или убийству — «Постановление» — оно у нас троих совершенно одинаковое.

Вот, наконец, я узнаю полный и совершенно официальный состав моего преступления. Не ленюсь переписать в приготовленную тетрадку:

«Разгон, вместе с сестрами Бокий усиленно распространяет клеветнические слухи про руководство ВКП(б) и систематически ведет озлобленную контр-революционную агитацию. Разгон утверждает, что как Москвин, так и Бокий невиновны. Говоря о картине «Петр I-й» и других, Разгон заявляет: «Если дела так дальше пойдут, то скоро мы услышим «Боже царя храни» в соответствующей обработке». Разгон распространяет клеветнические слухи об арестах Шверника и Блюхера. Во время очередной выпивки с сестрами Бокий, Разгон высказывал сочувствие врагам народа и провозгласил тост: «Выпьемте за наших отсутствующих друзей, которые не могут разделить с нами этот тост». На квартире часто бывают жены арестованных: жена арестованного сотрудника НКВД Гопиуса и жена Д. Осинского, также арестованного.

Разгона необходимо арестовать».

Оперуполномоченный 10 отделения 4 отдела ГУГБ, лейтенант госбезопасности Лобанов».

Наверху две подписи. Слева «Утверждаю» — Фриновский. Справа: «Согласен»: Вышинский.

Удивительно! Ведь все правильно! Ничего придуманного. Но почему же так топорно мне открывают единственный источник, из которого они узнали о моем преступлении?

И об этом я также думаю, сидя в тихом кабинете, куда за плотно закрытыми окнами еле доносится шум Лубянской площади.

А источник этот действительно был единственным. За тем праздничным столом, где весьма скромно отмечалось мое тридцатилетие, кроме нас — соучастников «преступления», — находился еще один чело-

век. Наша близкая приятельница, человек нашей судьбы, которую мы бесконечно жалели и привечали. И было за что. Муж ее был арестован и — как мы потом узнали — к этому времени уже расстрелян. Она осталась с тремя маленькими детьми без работы, в казенной квартире. И спасения ради ей предложили в общем-то такую малость: «стучать» за нами.

Собственно, это открытие было первым моим шоком на допросе — потом их стало много больше. Через несколько лет, когда у меня началась переписка из лагеря с мамой, я в одном ее письме прочел, что наша бывшая приятельница бывает на Ордынке, приходит поиграться с Наташей и приносит ей что-нибудь сладкое... Я написал маме, что не желаю, чтобы она бывала в доме и играла с моей трехлетней уже дочкой. В ответном письме мама мне описала сцену:

— Скажите, почему вас Лева не любит?

— Почему же не любит?

— Он не желает, чтобы вы бывали здесь и игрались с Наташей...

Она заплакала и уходя сказала: «Напишите Лева, что я не самая плохая...»

И это тоже было правдой. Еще задолго до моего освобождения у меня прошла злость, ненависть, мстительное чувство против человека, который нас всех предал. Настолько прошло, что я сейчас вопреки моему правилу — «ничего не скрывать» — не называю ее фамилии. Наверное, ее нет в живых, но есть дети и внуки, носящие ее фамилию. Эта бедная женщина, которой бандиты приставили нож к ее горлу и горлам ее детей, была беззащитна. И, кроме того, она наивно предполагала, что может отделаться, если будет про нас «стучать». Такие безобидные вещи, как преступный тост, или же разговор об августейше понравившемся фильме. А им вполне хватало и этого. В каком-то смысле она даже и спасла меня. Потому что мне можно было предъявить и обвинение в попытке взрыва Кремля, и я бы под этим безоговорочно подписался и пошел бы под пулю...

Но оставим нашу бедную стукачку. Что же в моем «деле» есть кроме постановления с категорическим выводом «надо арестовать»?.. Ничего. Кроме протокола от 25, где слово в слово повторяется то, что я уже процитировал, и постановления «Особого совещания» от 21 июня об осуждении меня «За контр-революционную агитацию» к пяти годам ИТЛ.

Но ведь допрос 25 апреля был не единственный. Их было 5—6 — не помню сколько. И был мой идиотский торг, что я не контрреволюционер и не вел агитации, и не распространял клеветнические слухи, что коммунист и очень, очень советский человек... Но об этих «допросах» не осталось следа в «следственном деле». И не осталось следа от тех бумажек, которые мне Лобанов показал, прежде чем быстро и ре-

шительно закончить мое дело. Это были коротенькие записочки от Оксаны Елене и от Елены Оксане.

— Да, да! — развалился в кресле Лобанов. — Они у нас тут, обе. И дают показания и не упираются так, как вы. Так давайте поговорим по-деловому и закончим эту трагедию. С вашей жены и ее сестры взятки гладки. Ничего не смыслящие женщины, смотрящие вам в рот. Вина их ничтожна, да и нет у них, как у вас, никакой вины. Значит, так: сейчас вы подписываете протокол в этом виде и признаетесь в клевете и агитации. И после этого, я вам обещаю и даю вам честное слово чекиста и коммуниста, что ваши жена и свояченица будут немедленно освобождены. Конечно, в Москве мы их не оставим — этого обещать не могу. Они будут высланы. Но в свободную ссылку и начальство уже подобрало им хороший город — Харьков. Там есть клиники, там есть инсуплин и жена ваша сможет там лечиться. Если же вы идиотски будете упираться, я сегодня же даю распоряжение лишить вашу жену инсулина.

— Так вы же убьете ее!

— Это вы ее убьете. А мы — работаем. Так как?

И я немедленно подписал тот единственный протокол от 25 апреля, как подписал бы любой, любого содержания, хотя в нем утверждалось, что я прорыл туннель между Лондоном и Бомбеем и перевозжу по нему грузы для взрыва Кремля. А ведь меня не пытали. Кроме одной традиционной зуботычины и самого обычного мата, Лобанов со мной не делал «ничего такого». А почему же я поверил в «честное слово коммуниста»? Ну, во-первых, как я сейчас понимаю, я еще верил и в коммунизм и «честное слово коммуниста». А потом — это был шанс, ну не шанс, а только надежда. Но и этого для меня было достаточно.

Лейтенант госбезопасности Лобанов быстро закончил наши три дела. Они для него были ничтожными, мелочью. Потом я узнал, что подобные дела «родственников» у них назывались «осколками». Ну, вот стекло разбито, осколки разлетелись. Я получил пять лет — более далекий осколок; Оксана и Елена — по 8 — они были ближе к разбитому стеклу. Елена отбыла свои восемь лет в Устьвымлаге, потом ссылку в Башкирию, потом дождалась эпохи реабилитации, успела вырвать из начальственного оскала справки о реабилитации отца, матери, отчима, сестры и мгновенно после этого умерла. Как будто закончила весь предназначенный ей жизненный цикл.

А Оксану отправили в этап, конечно, лишив ее лекарства, без которого она не могла жить. И она в октябре 1938 года на проклятой Богом и людьми пересылке Вогвоздино умерла, так и не начав пеший этап в коми-зырянские леса. И слава Богу! Эти страшные слова мне пришли первыми в голову, когда весной 39 года я узнал о ее смерти, эти слова

я повторяю и сейчас, держа коричневую папочку, которая слегка вздрагивает в моих руках.

А я остался один. И, как сказано в многократно мною перечитываемом стихотворении Бориса Слуцкого:

«...А мне еще вставать и падать,
И вновь вставать.
Еще мне не пора».

Еще мне не пора...

Потому что я должен внимательно прочитать каждую бумажку в тех — главных! — делах. И понять не только историю гибели одного семейства, а нечто гораздо более мне интересное и для меня значительное: я сейчас прочитаю самое-самое секретное, я узнаю, как происходило уничтожение того верхнего слоя, тех, кто создал эту партию, произвел эту революцию, построил и руководил этим обществом... Ведь Бокий и Москвин принадлежали именно к таким людям. Мечта узнать это, мечта нереальная, не имевшая никаких шансов на осуществление, всегда маячила передо мной, как, вероятно, перед множеством других людей.

И, когда, как мне показалось, что вот — настало время! — я начал добиваться проникновения в тайное-тайных — в секретнейший архив КГБ, дабы взять в руки те толстые, страшные дела, на которых начертано «Хранить вечно». И оттуда все узнать, все понять.

И вот я получаю эти дела. Из того самого архива. Мой Виргилий по этому тихому, почти безлюдному аду, приносит авоську — обыкновенную авоську, в которой, наверно, кладется продуктовый заказ или же попросту хлеб. Мятую, нечистую матерчатую авоську. Он достает из нее три папки — нетолстые, совершенно обычные, канцелярские. Он их отдает мне, а сам садится на свой наблюдательный пост.

И я беру в руки «Следственно-судебное дело» Глеба Ивановича Бокия.

И очень скоро понимаю, почему я через два-три месяца хлопот получил разрешение Зам. Председателя КГБ Пирожкова на ознакомление с этим и другими делами. В них нет никаких секретов. Все эти грифы «Сов. Секретно» и пр. — ничего не стоят. Из этих дел ничего нельзя узнать. Правда, они дают то, что называется «толчком к размышлению». Известно, что опытный палеонтолог может представить себе скелет динозавра или другого такого же вымершего зверя «по одной кости»... Не могу себя причислить к подобным исследователям. Во всяком случае, я многое узнал. И даже то, что я не узнал, — тоже стало знанием.

Самое главное в этих делах не то, что там есть, а то, чего там нет. Постановление об аресте Бокия и Москвина подписано каким-то заме-

стителем Ежова, Комиссаром государственной безопасности 2-го ранга — Л. Н. Бельским. Какой-то, ранее никому не известный субъект из окружения Ежова и посаженный им в свои заместители. Но не он же принимает решение об арестах людей такого ранга, как Бокий, Москвин и им подобные? Значит, это где-то обсуждалось и глаза того, чьи «толстые пальцы, как черви жирны» медленно проходились по списку, где были и эти хорошо знакомые ему фамилии. Впрочем, все фамилии в этих списках были ему знакомы. Значит, есть где-то эти списки, есть пометки, а может быть и резолюции, но они не здесь, не в этих делах, а в других, и хранятся они также тщательно, как смерть Кацеля... И там же хранятся и другие маленькие или большие, рукописные или же печатные бумажки с набросками сценария, или же полным сценарием того, за какое же ребро подвешивать очередную жертву.

Итак, 7 июня 1937 года Бокий был вызван к Ежову и оттуда уже не вернулся. Обыск в его кабинете производился в присутствии самого Ежова. Обыскивали, естественно, и дома. А постановление и ордер на арест не от 7 июня, а от 16-го. И в этом постановлении Замнаркома Л. Н. Бельский утверждает — уже как доказанное, — что Бокий состоял членом контрреволюционной масонской организации «Единое трудовое братство», занимавшейся шпионажем в пользу Англии. Кроме того, Бокий является руководителем антисоветского спиритического кружка, устраивавшего тайные сеансы, на которых «предсказывалось будущее».

А после постановления идет т. н. «Следственное дело», состоящее всего-навсего из двух протоколов допросов.

На первом из них обвиняемый признается, что он стал масоном еще в 1909 году, вступив в ложу, где членами ордена были и академик Ольденбург и художник Рерих (который везде именуется «английский шпион Рерих»), и скульптор Меркулов... Ложа продолжала активно существовать, от нее ответилось «Великое братство Азии», где уже начинается нечто из романов Луи Буссенара: таинственная секта исмаилитов, их легендарный и зловещий глава Ага-Хан, бродячие дервиши-шпионы... Значит, потребовалась всего какая-то неделя, чтобы Глеб Иванович без колебаний своим твердым и четким почерком подпisał эту гимназическую галиматью... Что же происходило за эту неделю? Если судить по «делу», то вовсе и ничего.

Дело всей семьи Бокия, Москвина и Софьи Александровны Москвиной-Бокий вели обычный следственный тандем: руководящий работник, редко пачкающий свои белые руки о физиономии арестованных, и опытный палач с мелким чином лейтенанта. У Бельского таким палачом-костоломом был Али Кутебаров, 1902 года рождения, казах. Конечно, он никогда в жизни не читал приключенческих романов, на которых, очевидно, вырос такая крупная интеллектуальная величина, как

Комиссар государственной безопасности 2-го ранга Бельский, и выбивал из подследственного роман, который ему диктовал руководитель следствия.

Но, очевидно, экзотическая масонско-исмаилитская версия не устраивала главных режиссеров всех этих кровавых игрищ. Не сомневаясь, что главным из них был «САМ», для которого они были главным культурным развлечением. Бокий им был нужен для более существенных дел, нежели то, что придумал недоучившийся гимназист Бельский. И здесь, очевидно, мне следует сказать немного о самом Глебе Ивановиче Бокий.

В очень для меня лестной статье «Масон, зять масона» («Литературная газета» № 52 за 1990 г.) такой авторитетнейший публицист-исследователь, как Аркадий Ваксберг, написал, что Глеб Бокий командовал «не только соловецкими лагерями «особого назначения», но и всеми другими концлагерями, не «особыми» и не «специальными». На этот раз Аркадий Ваксберг допустил ошибку. Глеб Бокий не имел за всю свою многолетнюю работу в ОГПУ — НКВД никакого отношения к ГУЛАГу и к любым другим лагерям. Его имя оказалось связанным со знаменитым Соловецким лагерем не только благодаря названию парохода, курсировавшего между Кемью и Соловками, но и благодаря тому, что он был автором идеи создания концентрационного лагеря и первым его куратором.

Глеб Иванович Бокий принадлежал, конечно, к совершенно другой генерации чекистов, нежели Ягода, Паукер, Молчанов, Гай и другие — имена же их ты Господи веши... Это был человек, происходивший из старинной интеллигентной семьи, хорошего воспитания, большой любитель и знаток музыки. Пишу это вовсе не для того, чтобы прибавить хоть малость беленькой краски к образу Глеба Бокия. Ни образование, ни происхождение, ни даже профессия нисколько не мешала чекистам быть обмазанными невинной кровью с головы до ног. Менжинский, как известно, был образованнейшим полиглотом и знатоком античной литературы, а по профессии — исследователем истории балета... Глеб Иванович Бокий был одним из руководителей Октябрьского переворота, после убийства Урицкого стал Председателем Петроградского ЧК и в течение нескольких месяцев, до того как Зиновьев вышиб его из Петрограда, руководил «Красным террором», официально объявленным после покушения на Ленина. А во время гражданской войны, с 1919 года был начальником Особого отдела Восточного фронта, а затем и Туркестанского. Нет надобности объяснять как характер этой деятельности, так и невозможно подсчитать количество невинных жертв на его совести.

Как мне кажется, идея создания на Соловках концентрационного лагеря для интеллигенции имела то же происхождение, как и массированная отправка за границу всего цвета русской философской мысли. Тех — за границу, а которые «пожиже», не так известны, не занимаются пока политической борьбой, но вполне к этому способны — изолировать от всей страны. Именно — изолировать. Ибо в этом лагере не должно быть и следа не только каторжных, но и каких-либо других работ для высланных. И первые годы Соловков были совершенно своеобразными, о них сохранилось много воспоминаний, в том числе и Дмитрия Сергеевича Лихачева. Запертые на острове люди могли жить совершенно свободно, жениться, разводиться, писать стихи или романы, переписываться с кем угодно, получать в любом количестве любую литературу и даже издавать собственный литературный журнал, который свободно продавался на материке в киосках «Союзпечати». Единственно, что им запрещалось делать — заниматься какой-либо физической работой — даже снег чистить. Но ведь снег-то надобно было чистить! И дрова заготавливать и обслуживать такую странную, но большую тюрьму. И для этой цели стали привозить на Соловки урок — обыкновенных блатных. А командирами над ними ставили людей, которые числились заключенными, но были по биографии и характеру подходящими для этого. Легко понять, что ими оказались не доктора философии и молодые историки, а люди, побывавшие на командирских должностях в белой или же Красной армии. Знаменитый палач Соловков начальник лагеря Курилко был в прошлом белым офицером, хотя и числился одним из «изолированных» на острове. И постепенно стал превращаться идиотски задуманный идиллический лагерный рай в самый обычный, а потом уже и в необычный лагерный ад. Бокий в последний раз был на Соловках в 1929 году, вместе с Максимом Горьким, когда для того, чтобы сманить Горького в Россию, ему устроили такой грандиозный балет-шоу, по сравнению с которым знаменитые мероприятия Потемкина во время путешествия Екатерины кажутся наивной детской игрой.

А сам Бокий с 1921 года и до самого своего конца был создателем и руководителем отдела, который даже не был отделом ОГПУ, а официально считался «при»... Насколько я себе представляю, он скорее был похож на то, что в США называется «Агентством национальной безопасности». И занималось оно тем, что охраняло тайны своего государства и охотилось за тайнами других. И сам отдел и его руководитель были, пожалуй, самыми закрытыми во всей сложной и огромной разведывательно-полицейской машине. Один из первых перебежчиков, бывший торгпред в Париже Беседовский, который прирабатывал еще и сочинением романов, написал о Бокие аж целый роман. Он назывался «Охотники за шифрами». Хотя я целых два года сам работал в этом «при»,

о функциях отдела Бокия я был информирован весьма скупо. Но знаю точно, что в этом отделе никого и никогда не арестовывали и не допрашивали. Наверное, это делали в других, более для этого специализированных отделах. Первого арестованного в моей жизни я увидел 18 апреля 1938 года во внутренней тюрьме.

Все это я пишу не для оправдания или же наведения некоторой бледности на образ моего бывшего тестя. Но Бокий из всех возможных и невозможных по своим обязанностям фигур вокруг сосредоточия власти был самым информированным, самым знающим, от него не могла укрыться никакая тайна. И предъявлять такому человеку полушкольное сочинение о масонах и исмаилитах было более чем глупо. И поэтому были получены от Главного режиссера другие указания. Вот почему в деле появился еще один протокол — уже не от 16 июня, а от 15 августа. И допрос тут вел не высокий интеллектuala Бельский, а его полуграмотный помогайло-костолом Али Кутебаров.

Ну вот здесь и были установлены преступления, далеко отстоящие от любительского масонства. Бокий признавался, что он всегда был троцкистом и после высылки Троцкого поддерживал с ним постоянную и тесную связь. Пока Троцкий был в Европе, то непрерывно переписывался с Бокием через своих эмиссаров, а когда очутился в Мексике, то Бокий у себя на даче установил для связи с Троцким специальную радиостанцию. А так как расстояние между радиостанциями Троцкого и Бокия было большим, то договорились с немецко-фашистской разведкой, что послания заговорщиков будут приниматься и передаваться через их специальную радиостанцию. Ну, естественно, что главной целью этих переговоров была организация убийства Сталина. Это проще всего было осуществить, взорвав к чертовой матери весь Кремль. В отделе Бокия был человек, который носился с идеей производства взрыва на расстоянии невидимыми лучами, — Женя Гопнус. И вот он и должен был осуществить эту историю. Правда, для этого нужно было завезти в Кремль подходящее количество взрывчатки, но такие детали уже не интересовали авторов этого школьного сочинения. И вот этот второй протокол, как и первый, Бокий, как и положено, на каждой странице подпisał своим четким и колеблющимся почерком.

Теперь всего было достаточно, но такая эстрада не годилась даже для десятиминутного суда, проводимого Ульрихом. Поэтому в постановлении «Об окончании следствия», подписанном 15 ноября 1937 года Бельским и соответственно утвержденным, все эти масонско-троцкистские преступления даже не передавались суду, а подлежали решению «Особой тройки НКВД». И в тот же день — 15 ноября эта тройка «приговаривает» Глеба Ивановича Бокия к расстрелу и в тот же день его убивают. С ним — конец.

В деле Ивана Михайловича Москвина, кроме постановления об аресте, как соучастника масонско-шпионской организации, есть еще два протокола. Первый, сразу же после ареста. В нем, кроме отрицания всех фантастических обвинений, вдруг прозвучали слова, которые действительно могли принадлежать только Москвину, и которые были немедленно занесены в протокол как некое полупризнание. Я выписал эти несколько слов, которые не могли выдумать ни Бельский, ни Али. «Я все больше почувствовал, что наша жизнь окутана густой паутиной партийной лжи и фальши. Мне казалось, что в людях нет необходимого человеческого достоинства и меня угнетала мысль о том, что при всей многочисленности человеческого общества крайне редко можно встретить лицо, которое имеет право называться человеком...»

А следующий протокол — огромный, на множестве страниц, исписанный мелким и разборчивым почерком Али, подписанный всего лишь через три недели, 4 июля, совершенно другой. В нем содержатся признания в соучастии в правой террористической организации; в нем оговариваются активнейшие работники партии (правда, к этому времени почти все арестованные). В них Москвин берет на себя все, что угодно, вплоть до организующей роли в некоей антисоветской право-троцкистской организации. И, конечно, попутно выдает все тайны загадочного масонского кружка и всех их участников. И каждая страница подписана хорошо мне знакомой четкой подписью Ивана Михайловича.

Вот он не только предается суду Военной коллегии, но и на суде 27 ноября 1937 года, где председателем суда был Ульрих, а членами Никитченко и Горячев и который длился — как обычно — 15 минут, признается в своих преступлениях, немедленно приговаривается к расстрелу и тут же убивается. Все это происходило в Лефортовской тюрьме, где находились и Бокий, и Москвин, и куда — рационализации ради — палаческая тройка, пародирующая суд, приезжала из своего заведения на Никольской улице. Там, в Лефортовской тюрьме, в маленьком кабинетике с отдельным сортиром, они заседали, туда приводили т. н. «подсудимых» — в большинстве своем хорошо знакомых Ульриху, там прочитывался заранее уже отпечатанный приговор, и сразу же жертву вытаскивали вниз и убивали выстрелом в затылок. Поработав таким образом несколько часов, пропустив через свой «суд» человек этак 20—30, тройка упырей садилась в свои машины и ехала домой, где их ждал семейный уют, вкусный обед и сладкий послеобеденный сон.

А теперь — самое главное. Почему они так охотно и сравнительно быстро признавались в совершенно чудовищных и абсолютно неправдоподобных преступлениях? И, если верить этим «следственным» делам, то делали это на первом же, максимум на втором допросе. Вопрос

о «признаниях» был жгуче-непонятен и раньше, когда на открытых процессах люди, известные своей принципиальностью, храбростью, почти легендарным мужеством — открыто, перед глазами всего мира, не моргнув, возводили на себя самую чудовищную ложь. Это было непонятно тогда, думаю, что это не стало яснее и теперь. Ибо это — столь же запретная тема, как и полвека назад. С этой страницей своей исторической биографии современное КГБ не желает расставаться и ее раскрыть, несмотря на все либеральные ужимки, вплоть до выдачи наисекретнейших дел отдельным заинтересованным лицам.

Я уже говорил, что в этих делах самым главным и интересным для историка является не то, что там имеется, а то, что там отсутствует. А отсутствуют, кроме предварительного обсуждения и решения — кого, когда и как убивать, еще и такие следы работы «суда», которые именуются, кажется, «распорядительным заседанием». Не знаю, что положено там делать, но совершенно очевидно, что шайка палачей и бандитов, изображающих Военную коллегию Верховного суда, предварительно и весьма быстро решала судьбы тех, кто еще в это время сидел в камере и не знал, что через час-другой его убьют. А решали они быстро, потому что у них уже был список, напечатанный и кем-то подписанный, решивший участь людей, считавшихся «подсудимыми».

И до того времени, когда мой безвестный тихий юноша из КГБ достал из авоськи дела Бокия и Москвина, я много, очень много думал: а они признались? Я ведь хорошо знал и Глеба Ивановича и Ивана Михайловича и был совершенно уверен, что этих людей нельзя сломить угрозами и тем, что называлось деликатно «физическими методами». А они «раскололись» и так неожиданно быстро и без всякой борьбы! Почему? Вот об этом, о чем не осталось и следа в следственном деле, я и хочу поразмышлять. Опираясь не только на прочитанное, но и на свой немалый опыт человека и самого сидевшего, и разговаривавшего об этом с десятками людей, пропущенными через мясорубку «карательных органов».

Из того, что в большинстве следственных дел лежат один, максимум — два «протокола допроса», вовсе не следует, что допросов столько и было. Из нашей 29-й камеры Бутырок вызывались ночью на допросы одни и те же люди, почти каждую ночь. Иногда они не приходили сутками и мы знали, что они «на стойке» — стоят днем и ночью без сна, пока меняются их следователи. Иногда они приползали полуживые с разбитым лицом, искореженными членами. Иногда их приносил конвой и кидал, как ветошь, на пол камеры. Словом, в следственных делах, в этих почему-то считающихся очень «секретными» делах не отражено, более того, уничтожены все следы того, что происходило между одним

протоколом допроса и другим, если в другом появлялась, как в случае с Бокием, надобность. Уничтожались следы пыток. И не просто пыток, а таких, о которых не знало, не имело представления не только какое-нибудь паршивенькое средневековое, но и такие мастера, как гестаповские палачи. Все эти кадры из советских детективов, где одетый в белый халат опытный, пыточных дел мастер стоит возле своего связанного клиента, позвякивая щипчиками и прочим пыточным инструментарием, — самая обыкновенная липа. А если не липа, то пустяк по сравнению с нашими «допросами без протокола».

Самой первой задачей палачей было убедить приведенного к ним без шнурков, пуговиц, поддерживающего спадающие штаны человека в том, что он — уже не человек, что он нечто, с кем можно делать и будут делать все. И делали. Начиная с тривиальных побоев, пощечин, обещания расстрелять, имитации расстрела и прочее и прочее. Действия были самые разные. И рассчитанные на конкретного и подходящего человека. Наверное, Муралова было бы смешно пугать инсценировкой расстрела. А у нас в камере очутился тихий и пышивополосый курчавый еврей, работавший товароведом в ГУМе. Учился он в Плехановском институте и в свои студенческие времена носил косоворотку красного цвета, почему остряки с курса звали его террористом. А в 38 году какой-то допрашиваемый бедолага-однокурсник на вопрос следователя, — кого он знал из террористов, запинаясь, ответил, что вот одного студента из-за цвета рубашки у них на курсе так звали. Наш «террорист» пришел с допроса совершенно целенький, но какой-то странный. Он сел на нары, взял в руки клочок своей пышной шевелюры, и она отделилась так свободно, как будто ее даже и не приклеивали к черепу. Затем он повторил это и через несколько минут сидел перед нами с совершенно обнаженным блестящим черепом. Когда мы к нему кинулись, он нам начал рассказывать, как в кабинете ему объяснили, что сейчас его расстреляют и как инсценировали этот расстрел...

Самое главное для них было не запутать даже, а унижить человека настолько, чтобы тот понял — здесь все БЕСПРЕДЕЛ! В славные времена Ивана Васильевича Грозного, да и позже, были пытошные камеры и в них пытали — для этого там находились дыба и клещи, и прочие необходимые для юстиции предметы. Но там велись «пытошные ведомости». И ведущие допросы дьяки дотошно записывали, какие применялись к подсудственному меры убеждения. И даже фиксировали, что время от времени подвергаемый пытке «впадал в изумление» — то есть терял сознание. Но то было тогда. В наше славное, социалистическое время ничего не фиксировалось, ничего не записывалось и выбор

средств для уничтожения личности был совершенно беспредельный. Можно было бить по наиболее чувствительным местам тела, зажимать пальцы дверью, срывать ногти, бить по половым органам, никаких не было ограничений, кроме возбужденной фантазии нелюдей в мундирах.

Маршал Советского Союза, уже будучи и маршалом и всенародным героем, плакал, вспоминая, как очередной лейтенант мочился на его голову. Хорошо на голову, других заставляли открыть рот и мочились ему в рот. А может ли любая женщина вынести, когда молодой мерзавец со смехом испражняется на ее голову? У нас на I-м лагпункте Устьвымлага была женщина интересной судьбы: еврейская рижанка, вышедшая замуж за архитектора и прожившая большую часть жизни в Бразилии и Париже. Потом муж приехал в Советскую Россию воздвигать величественные, достойные коммунизма здания. Загория (так была ее фамилия) рассказывала мне, что сидела в одной камере с одной большевичкой по фамилии Постолювская. И она была доведена до того, что каждый вечер начинала молиться Богу, чтобы ее не вызвали, как обычно, на ночной допрос.

Постолювская... Эта личность мне была известна. Большевичка из старой большевистской семьи, жена Павла Петровича Постышева. Чтобы она стала верующей, молилась?! Что же такого ее страшило в ночных допросах? Цирк. Так назывался допрос-развлечение, придуманное этими личностями. Постолювскую притаскивали в большой кабинет, где уже находилось шесть-семь молодых людей с жокейскими бичами в руках. Ее заставляли раздеться совершенно донага и бегать вокруг большого стола посредине комнаты. Она бегала, а эти ребята, годившиеся ей в сыновья, в это время подгоняли ее бичами, добродушно выкрикивая поощрительные слова. А потом предлагали лечь на стол и показывать «во всех подробностях» — «как ты лежала под Постышевым»... И так почти каждую ночь.

Я спрашивал у сокамерницы Постолювской: — Всегда были одни и те же?

— Нет, рассказывает, — менялись, появлялись новые...

Ну, да ладно! Перестанем перечислять все разнообразие пыток, с помощью которых человека принуждали подписывать все что угодно, делать все что угодно, лишь бы наступил скорей спасительный конец. Ибо в этом случае слова «смерть-избавительница» были совершенно точным и желанным понятием.

Но физические пытки вовсе не были пределом. Во-первых, редко, но находятся люди, способные вынести любые физические мучения. Кроме того, человек так физиологически устроен, что, дойдя до определенного болевого порога, он теряет сознание, а следовательно, ничего из него больше выбить нельзя. Но в распоряжении палачей были и го-

раздо более действенные средства: близкие, в первую очередь дети. Никто из тех несчастных, которых на Лубянке или в Лефортове доводили до нужных палачам «кондиций», не сомневался, что любые угрозы «сделать с детьми» — реальны. Независимо от возраста детей. Совершенно крошечных отдавать в спецлаг, где они почти мгновенно вымирали, постарше — в специальные детские дома, где они сначала мучились, а потом вымирали. Еще постарше — арестовать и заставить пройти по всем кругам ада.

В первой и наиболее знаменитой книге Роя Медведева приводится эпизод, когда один крупный партийный работник не подписал ничего, несмотря ни на какие пытки. Тогда в кабинет следователя привели его 16-летнюю дочь, изнасиловали на глазах отца и спокойно пригрозили: за дверь стоит взвод солдат и сейчас они будут все насиловать девочку. И отец не выдержал — подписал. Не ради спасения дочери — спасти ее было уже невозможно, ее выпустили, она вышла и бросилась под поезд. Отец подписал требуемое, потому что это НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕНЕСТИ!

А сколько же людей — и какие люди! — соглашались на все, соглашались на участие в фарсовых «открытых процессах», в надежде спасти своего ребенка! Ведь им давали «честное слово коммуниста», им устраивали свидания, присылали подложные письма. Да, — все было по Достоевскому. Для них никакого Бога не было, а следовательно, — все возможно...

Я так и не узнал и никогда не узнаю, как заставили Бокия и Москвина подписать все немыслимое, что они подписали. Как мне кажется, не только страх за близких — у Глеба Ивановича была годовалая девочка, не говоря уже о более старших. Я полагаю, что оба они нисколько не сомневались в ожидающем их конце. Они были достаточно информированы и о системе, и о людях, ее осуществлявших. Они их знали, среди них были и такие, которых они сами вырастили — как Москвин Ежова. Они знали, что их убьют и, как мне кажется, делали все, чтобы приблизить эту минуту.

И у меня к ним нет ни чувства горечи и разочарования, ни обиды, ничего, кроме самой обычной и бесконечной жалости. В своей книге я жестоко обругал генерала Горбатова за его гордое заявление, что вот другие «признались», а он-де не признался... Может быть, я был несдержан в словах, но до сих пор считаю себя правым. Никто не имеет нравственного права в чем-либо обвинять жертвы, а следовательно, и оправдывать палачей.

По количеству информации, «следственные дела» Глеба Ивановича и Ивана Михайловича были бы совершенно ничтожными. Но к ним было приплетено т. н. «реабилитационное дело» — бумажки всякого рода,

которые рассматривали как чины прокуратуры и Верховного суда, так и парткомиссии ЦК КПСС. Бумаг довольно много, включая хвалебнейшие письма о Бокие Стасовой и Калининой и кончая допросами разных людей, в один голос утверждавших, что расстрелянные Бокий и Москвин были прекрасными и бескорыстными людьми. Зачем все это понадобилось чинам государственным и партийным — понять не могу?! Даже малограмотному ежу понятно, что все это «следственное дело» — сплошная липа, что тут имеется обдуманное убийство и не требуется для этого никаких доказательств. Но, вероятно, делать бессмысленную работу за немалые деньги, хорошие пайки и персональную машину не так уж и плохо... Ну, хрен с ними!

Но в этом «реабилитационном деле» я нашел нечто, которое, казалось бы, должно было хоть как-то удовлетворить мои чувства ненависти, мести и пр. к тем, кто мучил моих близких. Знал ли Комиссар Государственной безопасности Бельский и его придворный палач Али, что им осталось жить всего-то лишь не более двух лет? Что уже в 39-м или 40-м году они будут валяться избитыми на полу и другие молодые люди, а может быть, и их сотрудники станут с ними проделывать все, что они проделывали с другими? Когда убрали очередного «мавра» — Ежова и новый «мавр» — Берия стал наводить свои порядки, он, естественно, поснимал и прострелял, предварительно помучив, всех тех, кого привел в свое время Ежов и которые были его опорой. Бельский и его заединщики оказались в их числе. Бельский и Али были расстреляны 5 июня 1941 года. Аминь!

Но в их делах я нашел то, чего не знал, — подлинную судьбу Софьи Александровны. В моей короткой семейной жизни на Спиридоновке она для меня была радостным и светлым пятном. С ее добротой, щедростью, открытостью, весельем... Я был уверен, что ее постигла обычная участь жем — склопотать статью ЧСИР — член семьи изменника родины, получить свои 8 лет и быть отправленной в лагерь на Потьму, где собрали и изолировали десятки тысяч таких, как она. Мне даже кто-то рассказывал, что видели ее там на станции Яваз. А что лагерь она не выдержит и со своим больным сердцем погибнет там через какое-то время, я не сомневался.

И вот я беру в руки последнее дело из матерчатой авоськи — дело Софьи Александровны. И не отрываясь смотрю на ее первую тюремную фотографию: расширенные от ужаса глаза и летнее платье, в котором ее 14 июня увезли в Волынское присутствовать при обыске.

— Зачем вам пальто? — сказал главный чекист, — мы же через час вернемся. — Она уехала в одном легком платье, в нем и была снята на тюремной фотографии.

Первое упоминание о ней было в письме Бельского Ежову с предложением арестовать Москвина. Ежов наискосок накладывает резолюцию: «т. Бельскому — к исполнению» и подписывается. И уже после подписи приписывает «И жену тоже». Я не ожидал, что Ежов, которого Софья Александровна так опекала, заботилась о его здоровье, относилась, как к близкому человеку, может сделать какое-то исключение для нее, и был уверен, что ее постигнет участь и других жен «врагов народа». И действительно: первый допрос проводил у нее не Бельский со своим пыточным мастером Али, а некий Т. М. Дьяков и обвиняли ее в обычных для таких преступниц делах — не могла-де не знать о злодеяниях ни первого, ни второго мужа. Через три недели опытный Али довел Софью Александровну до того, что она призналась, что укрывала злодеяния своих мужей. И уже через несколько дней в деле лежала приготовленная стандартная бумага-заклучение, по которой Софья Александровна обвинялась в «укрывательстве», а следовательно, и шла по статье ЧСИР — ее ожидало постановление Особого совещания, или тройки — черт их знает, как эти убийцы себя называли?! — к 8 годам Пытмы.

Но бумага эта так и осталась лишь следом, что у Ежова в отношении своей бывшей гостеприимной хозяйки были другие планы. Ибо Софью Александровну никуда больше не двигают. А начинается у нее новый цикл «допросов», который ведет уже непосредственно один Али и довершает его протоколом от 27 ноября 1937 г. Здесь и обвинение и сценарий совсем другие. Оказывается, Софья Александровна замышляла убить самого Ежова. А для этого привлекла в соучастники доктора Бадмаева. Я хорошо знал Николая Николаевича Бадмаева — умного, спокойного, интеллигентного бурята. Приходился он племянником знаменитому дореволюционному Бадмаеву и шел по его стопам: лечил какими-то травками всю кремлевско-придворную знать. Конечно, бывал и на Спиридоновке, и даже давал мне какие-то порошки от чего-то: я ими чистил свои брезентовые туфли... Так вот Софья Александровна и уговаривала Бадмаева отравить Ежова, который по своему положению тоже входил в число пациентов модного доктора. Но Бадмаев заявил, что он английский шпион и задаром такие поручения не выполняет. Вот, если Софья Александровна согласится работать на английскую разведку, то тогда... Естественно, что Софья Александровна согласилась. И, очевидно, не сразу.

На одном из своих допросов в 1939 году арестованный Бельский показал, что уже после окончания дела Москвиной его вызвал Ежов и приказал ему добыть у Софьи Александровны показания о том, что

она покушалась на его драгоценную жизнь. Бельский немедленно поручил это опытному Али. Потом Али, уже на своем собственном допросе, признался, что это было нелегким делом, ибо подследственная упиралась... Но дело мастера боится! И 27 ноября Али получил протокол с признанием, что Москвина была шпионкой и террористкой. Вот это уже совсем другое дело! Это не сладкая жизнь в женском лагере, а верная пуля. 25 декабря 1937 года пишется постановление об окончании следствия, 27 февраля 1938 года составляется обвинительное заключение, подписанное Бельским и Вышинским, а 8 апреля 1938 года Софью Александровну привозят из Бутырок, где она содержалась, в то самое здание на Никольской, где находится зловещее царство Ульриха — Военная коллегия Верховного суда. «Судят» ее даже не сам Ульрих, а его заплечные помощники — Кандыбин, Колпаков и Суслин. На четвертушке бумаги, где изложен протокол суда, говорится, что обвиняется Москвина-Бокий по ст. ст. 58—6 и 58—8 (шпионаж и террор), что суд длится 15 минут, что обвиняемая просит сохранить ей жизнь, что она приговаривается... Через несколько минут или час — не знаю — Софью Александровну убивают, о чем в ее деле остается небольшой клочок бумаги: «Приговор приведен в исполнение 8 апреля 1938 года, акт о расстреле передан для хранения в I-й Спецотдел НКВД, том 3, лист 142/».

Почему Ежов захотел обязательно убить Софью Александровну — не знаю! И никогда не узнаю. Даже предположений не могу строить — это уже дело будущих беллетристов. Но значит — убили ее. Расстреляли. А я ведь видел это место... В прошлом, 1990 году, в нашем Совете «Мемориала» снова возникла мысль о том, чтобы попытаться под здание и музей «Мемориала» завладеть тем страшным, расстрельным домом, где была Военная коллегия, а сейчас находится Городской военный комиссариат. И решили поехать посмотреть этот дом... Благодаря тому, что среди нас было несколько народных депутатов, а самое главное — был Евтушенко, чьему напору и популярности не могли противостоять даже прапорщики, спящие в Военкомате, мы не только проникли в этот дом, но и спустились в подвалы. Со второго этажа, где заседала эта самая «коллегия», мы закоулочком прошли к узкой лестнице, ведущей глубоко вниз. Лестницу, очевидно, никогда и не ремонтировали: покосившиеся цементные ступени, стертые от бесчисленных прикосновений узкие металлические перила. И подвалы, подвалы, разделенные на отсеки. В них навалом лежит солдатская одежда, теплые шапки, пояса — ну да это все для призывников. Когда-то, когда соседнее здание именовалось «Аптекой Ферейна», в этом доме помещалось какое-то торговое дело. И подвалы были устроены, чтобы хранить тюки

с мануфактурой. А чтобы спускать их вниз и вытаскивать наверх, был устроен широкий люк с пандусом, по которому эти тюки вытаскивали наверх во внутренний дворик. Люк и пандус сохранились в безукоризненном состоянии, они очень пригодились, когда в этом доме не торговали, а убивали.

И я себе представил, как их ведут или волокут по этой узкой лестнице, как их убивают тут же, или же доводя до подвала, как баграми или веревками вытаскивают через люк трупы наверх, где их грузят в залитый кровью грузовик, накрывают брезентом и отправляют в одно из многочисленных подмосковных мест, подготовленных для захоронения трупов. Вот как, значит, закончилась жизнь Софьи Александровны... Еще я узнал про нее, что она с 1904 по 1909 год была членом партии эсеров, арестовывалась 4 раза, просидела год в тюремном заключении... Ну, все это уже не имеет значения. За свои 51 год она прошла столько жизней, драм, радостей и горестей, только вот этот конец... А зачем они скрывают то, что никогда и нигде — в средневековье, при любом царистском правлении, при немецких фашистах, никогда не скрывалось — дату конца жизни, дату смерти? Зачем они это делают?

Вернувшись из лагеря, Елена Бокий начала выяснять судьбу матери. О том, что отец и отчим расстреляны, она уже знала, что младшая ее сестра умерла в этапе — тоже знала. Ничего не знала о матери. И, узнав, что дело ее матери рассматривалось Военной коллегией, обратилась туда. Это было в августе 1956 года. Уже прошел XX съезд партии, уже жиденькими, но толпами возвращались из лагерей оставшиеся в живых жертвы Сталина и его славных соратников. В деле Софьи Александровны я нашел заявление Елены, адресованное Председателю Военной коллегии, и его ответ от 14 августа 1956 года: «Сообщите Елене Глебовне Бокий, что ее мать Софья Александровна Москвина-Бокий была осуждена 8 апреля 1938 года Военной коллегией и, отбывая наказание, умерла 12 сентября 1942 года». И подписано: «Председатель Военной коллегии Верховного суда, генерал-лейтенант юстиции — А. Чепцов».

Не знаю, жив ли этот подлец Чепцов, подписавший эту гнусную лживую бумагу, снабженную официальными грифами, гербами, печатью и прочими приметами, которые должны свидетельствовать, что тут учреждение великого государства, а не банда бандитов и разбойников. Но ведь он был не один! Тысячи, десятки тысяч людей получали в этот и последующие годы из московских и других загсов стандартные, с траурной каемочкой бумаги, извещающие, что такой-то умер. Точно указывалась причина болезни (чаще всего пневмония и паралич сердечной деятельности) и абсолютно точно день, месяц и год. И никогда место смерти и захоронения. Все эти бумаги были лживыми. Лжива при-

чина смерти (хотя, если в человека выстрелить, у него, вероятно, и происходит паралич сердечной деятельности), а главное — была лжива дата. И сочинением этих бесчестных, подлых и лживых бумаг занимался не сам генерал-лейтенант Чепцов, а сотни, тысячи, много тысяч обыкновенных работников загсов. Это им было поручено сочинять эти бумаги, это им было приказано придумывать в определенных временных пределах лживые даты смерти. И они наверняка были моложе, чем генерал Чепцов, который, наверное, за это время успел сдохнуть. Но никто и никогда за все эти годы, включая и годы создания «Мемориала», и всеобщего лживого раскаянья в содеянных преступлениях, никто не делал попытки разыскать этих людей, этих загсовских чиновников и через них узнать, пройти по цепочке к тем, кто давал распоряжения скрыть от близких даже дату смерти. Это я вот узнал точную дату смерти Софьи Александровны — не 14 сентября 1942 года, а 8 апреля 1938 года. И я, и ее дочери были тогда еще, в этот день, живы, жили в Гранатном переулке и нетерпеливо ждали, когда наконец придет письмо из лагеря и можно будет немедленно послать посылку. С теми теплыми вещами, в которых ей отказал убийца в фуражке с синим верхом. Как в воду глядел, мерзавец, — они ей не понадобились...

Я начал говорить о тех маленьких чиновниках, которые сочиняли бумажки с лживыми датами смерти. Но что они! Ведь были и есть — живы до нашего времени не сотни, а тысячи, много тысяч тех, кто всегда звался точно и однозначно — палачами. По неопровергнутой справке МГБ, данной в 1956 году, только с 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года было расстреляно 7 миллионов людей. По одному миллиону в год... При Александре II в России было повешено немногим более 60 политических заключенных. Это не так уж и много, но проблемой был палач — он тогда, этот знаменитый арестант Фролов из Бутырок, был один на всю Россию. И его возили из Москвы в Шлиссельбург, в Одессу, в Вильно — всюду, где надо было «по закону» убить человека.

А сколько же палачей требовалось, чтобы ежегодно убивать миллион людей? И не так, как это делали немецкие фашисты — почти открыто, тысячными толпами сгоняя обреченных днем к готовым рвам. Нет, убивали тайно, и, чтобы это совершить, надобно было привлекать к этой работе много тысяч людей. И убивали-то ведь беспредельно жестоко. Повешение 3 апреля 1881 года пятерых цареубийц на Семеновском плацу в Петербурге кажется венцом гуманности. Разрешили написать последнее письмо к близким — и до сих пор невозможно без душевного потрясения читать предсмертное письмо Софьи Перовской к матери; их вместе привезли на Семеновский плац, и они в последний

раз увидели толпы людей, ради которых сами убивали и шли на смерть; и перед смертью распрощались и расцеловались друг с другом...

В 11-м номере журнала «Известия ЦК КПСС» есть лаконичное описание расстрела 157 политических заключенных 11 сентября 1941 года. Все они имели судебные сроки и содержались в орловской тюрьме. Среди них было довольно много людей с богатой политической биографией. Сталин и Берия решили их убить. Ну, убить, так убить! Дело привычное, и не таких убивали и в количестве более значительном. Но «закон есть закон», и 6 сентября Сталин дает указание расстрелять 170 человек в орловской тюрьме. 8 сентября Ульрих с подручными быстро составляют «приговор», а уже через три дня убивают 157 человек. Но как! Для этой «операции» (у немецких фашистов это называлось «акцией») из Москвы прибыла специальная большая команда палачей. Всем убиваемым специально сшитыми кляпами затыкали рты, затем связывали руки, объявляли им, что их сейчас будут расстреливать, затем усаживали в грузовики и отправляли за 11 километров в лес, где уже были выкопаны рвы для трупов. Среди расстрелянных были мужчины и женщины преклонного возраста, и надо собраться с силами, чтобы представить себе, как вбивают матерчатые сшитые кляпы Ольге Окуджаве, которой было 63 года, Ольге Каменевой — 59 лет, Марии Спиридоновой — 57 лет, Варваре Яковлевой — 56 лет... Среди мужчин было много просто стариков. Х. Г. Раковскому исполнилось 68 лет, а проф. Д. Д. Плетневу и все 69...

Да, в такой «операции» одним Фроловым из прошлого века не обойдешься! Палачей были сотни и сотни. И те, кто шил кляпы, и те, кто вбивал их в рты убиваемым, и те, кто завязывал рты и руки, и те, кто втаскивал их в смертные машины, и те, кто убивал, стаскивал трупы в ямы... И даже те, кто после этого не просто закапывал страшные могины, а высаживал на эти места заранее приготовленные деревья... Много, множество палачей занимались своим делом. И — удивительное дело! Ни одного участника убийств найти не удалось. Прокурор В. Зыбцев, вынесший 12 апреля 1990 года «Постановление о прекращении уголовного дела», сделал вывод: «принятыми мерами розыска участников этой акции и место погребения осужденных найти не представилось возможным». Я привел название документа «Постановление о прекращении уголовного дела». Это ж какого дела? А убийц, убийц, начиная с главных и кончая женщинами, шивших кляпы для вбивания в рты убиваемых? Ну, этих женщин, вероятно, найти трудно. Хотя наши доблестные чекисты на протяжении десятков лет искали и находили в самых, казалось бы, скрытных местах всех тех, кто в годы войны был в «зондер-командах», помогал немецким фашистам расстреливать и закапывать трупы. Тех — всех находили, а вот наших — ни одного!

Впрочем, главных убийц и не надо было искать, они были известны. И прокурор В. Зыбцев в т. н. «судебном решении» пишет:

«Поскольку данное судебное решение вынесено на основании постановления Государственного Комитета Обороны — высшего в тот период времени органа государственной власти, действия Ульриха В. В., Кандыбина Д. Я. и Буканова В. В. состав какого-либо преступления не содержат.

На основании изложенного, руководствуясь п. I, ст. 208 и ст. 209 УПК РСФСР, — Постановил: «Уголовное дело в отношении Ульриха В. В., Кандыбина Д. Я., Буканова В. В. — прекратить на основании п. 2, ст. 5 УПК РСФСР за отсутствием в деянии состава преступления».

Ну вот и все! Непонятно лишь, почему, когда немецкий солдат, пойманный за убийство стариков и детей, совершенно логично отвечал: «Их бин зольдат» — это не принималось во внимание? Точно так же могли сказать и, может быть, говорили эта тройка известных палачей и тысячи палачей, оставшихся неизвестными, потому что их никто не разыскивал, а когда делали вид, что искали, то найти «не представлялось возможным».

Я привел страшное описание убийства или, «литературно выражаясь», «казни» людей из орловской тюрьмы. Но разве оно было самым страшным? Я уже писал, как у нас на штрафной командировке I-го лагпункта Устьвымлага живых и никем, собственно, не осужденных людей, связывали в круг и клали в плетеную башенку на 50-градусный мороз, пока они не превращались в оледенелый неразгибаемый труп. А как убивали в других местах? Это ведь зависело от изуверской изобретательности палачей.

Академик С. Б. Веселовский, занимавшийся историей царствования Ивана Грозного, писал, что Малюта Скуратов, специализировавшийся на уничтожении боярских родов, изобрел специальную казнь для женщин.

Несчастную сажали верхом на туго натянутую железную проволоку и водили по ней туда и назад, пока не распиливали... Маленький и очень грустный врач-грузин, с которым я встретился на 17-м лагпункте, сидел в Батумской тюрьме. Там кто-то, не менее изобретательный, чем Малюта Скуратов, придумал «мужскую казнь». Человеку на шею накидывали петлю из тонкой и прочной проволоки, затем пригибали голову вниз и другую петлю надевали на половой член. Затем ему тыкали в лицо горящую паяльную лампу. Спасаясь от огня, мученик непроизвольно отрывал себе половой член. «Смерть, как правило, наступала от потери крови», почти медицинским термином заканчивал свой страшный рассказ батумский доктор. А были еще другие казни, и еще, и еще... Я понимаю, что будущему историку надлежит все узнать, о всем написать, ничего не скрывать. «История должна быть злопамятной», написал тишайший и добрейший Николай Михайлович Карамзин.

Но я не историк, я не пишу историю преступлений. И тех, кто мучил и убивал тогда, и тех, кто сейчас их сознательно укрывает. Не от уголовного суда, нет, а от суда истории, времени, совести. Ибо, как бы они ни притворялись овечками, как бы они перед экранами телевизоров и залами, заполненными приглашенными, не уверяли, что они «другие» — они — такие же... И, как звери в «Маугли», встретясь на том свете, в адском огне могли крикнуть друг другу: «Мы с тобой одной крови!». Ведь, глядя каждый день на маленькие фотографии в «Вечерней Москве», фотографии людей, убитых 50—60 лет назад, убитых ни за что, глядя на эти фотографии, никто из многих тысяч людей, служащих в этих огромных домах на Лубянской площади, никто из них не сошел с ума, не покончил самоубийством, никто не выступил устно или письменно со словами и слезами покаяния, ужаса, смертельной тоски... Помните, в рассказе Чехова «Припадок», студент, побывавший в своей веселой компании в публичном доме, вдруг начинает почти сходить с ума от сознания, что эти несчастные женщины — люди! Замученные, несчастные люди! И никто из навещающих его товарищей-студентов — образованных, умных и, вероятно, добрых — не может понять, что же случилось с их коллегой.

Нет, никто из них не поймет, никому из них нет никакого дела до тех, кого убивали, никого из них не интересуют безвестные могилы, где лежат останки людей тебе близких и дорогих. Я никогда не узнаю и не увижу тот клочок земли в Вогвоздине, где зарыли Оксану, никогда я не узнаю, в каких ямах, в каких рвах, рощах, оврагах закопаны вместе с другими останки Глеба Ивановича, Ивана Михайловича, Софьи Александровны... И почему их одних? А моих братьев Израйла и Мерики, а моих друзей, товарищей, знакомых... Это ж надо так уметь! Миллионы людей как бы слизнули из жизни, из истории, как будто их никогда не было на свете! И не оставить от них никакого следа. Чтобы негде было встать и закрыть глаза...

Нет, я должен перестать об этом сейчас думать. Я давно уже перестал листать дела, они лежат уже больше часа или двух около меня, застывшего в кресле со своими мыслями. И присмотрщик уже начинает нетерпеливо покашливать и смотреть на часы. Пора. Пора. Мне здесь уже нечего делать. Я отдаю дела, и папки снова небрежно укладываются в матерчатую авоську. Я иду вниз, по пустым коридорам, прохожу мимо часовых, которые даже документ у меня не спрашивают, и выхожу на Лубянскую площадь.

Всего только пять часов вечера, а уже почти темно, мелкий и тихий дождь идет непрерывно, отвесно, этот дом остается за мной, я стою на

тротуаре возле него, и я не знаю: что же мне делать? Я понимаю, что что-то должен сделать, но что?! Как ужасно, что я неверующий, что я не могу зайти в какую-нибудь тихую церквушку, постоять у теплоты свеч, посмотреть в глаза Распятого и сделать, сказать то, что делают верующие и от чего им становится легче.

Да, здесь была когда-то такая маленькая уютная церквушка — на углу Мясницкой и Лубянской площади. Крошечная церковь с маленьким кладбищем, где была могила знаменитого математика XVII века Магницкого. Но уже давно нет этой церкви, этой могилы, на этом месте воздвигнута новая громада одного из зданий КГБ.

Я стою долго, так подозрительно долго, что ко мне ближе подходит один из «некто в штатском», что дежурят у этого, самого старого, самого главного, самого страшного дома. Я смотрю налево, и там, вдалеке, около Политехнического музея различаю далекий, теряющийся в сетке дождя, мигающий огонек. Да, ведь это у камня! У Соловецкого камня! У скромного, неприметного памятника миллионам погибших — таких же, как и мои. Совсем недавно мы открывали его, я выступал здесь и на меня глядели глаза тысяч людей, которых привела сюда печаль, память, иногда отчаянье.

Я пошел к своему камню. Когда мы его торжественно открывали, это был просто камень, это был памятник, это было — пусть маленькое и скромное, но сооружение. А теперь это было другое. Под куском целлофана горела свеча, рядом с ней лежали два яблока, веточка рябины. Мокрые цветы лежали на камне, на подиуме, к которому были прислонены скромные размякшие венки. Надписи на их лентах уже нельзя было разобрать. Кто-то прислонил к камню любовно и тонко сделанный деревянный небольшой крест, кто-то положил листок со стихами. Десятка полтора людей стояли вокруг и молчали. Давно уже испарился запах ладана, следы молебствий и панихид. И теперь это был уже не памятник, это была могила. Вот такая обжитая, давным-давно обмоленная могила, какая бывает на старых, но еще действующих кладбищах.

Как и другие возле меня, я снял шапку, дождь или слезы текли по моему лицу, но я этого не замечал и думал о том, что «все души милых на высоких звездах...» И судьба снова привела меня в этот дом, чтобы прикоснуться к жизни моей и моих близких. Мне 82 года, я должен был это снова пережить, я стою у могилы десятков миллионов людей и среди них не потеряны, не растворились лица, голоса Оксаны, Софьи Александровны... И я могу их всех вспомнить и о них рассказать. И если жизнь так распорядилась со мной, значит, так и должно быть...

Еще мне не пора.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ПЕРВЫХ СКРИПОК

Сколько лет прошло, а до сих пор бешусь, когда встречаю в газетах заголовки «Этапы большого пути», «Этап новой жизни», «Счастливый этап...» и прочее в этом роде. Сейчас-то этих больших и счастливых этапов стало поменьше, а несколько лет назад нельзя было раскрыть любую газету, чтобы не наткнуться на это противоестественное словосочетание. И чего они привязались к этому слову, что они нашли в нем такого радостного? В Академическом Словаре русского языка сказано совершенно ясно: «Отрезок пути между такими строениями или весь путь следования лиц, направляемых под конвоем до места заключения, ссылки». А дальше идут производные от этого слова, без которых не мыслится история ни старой России, ни Союза Социалистических Республик, в любом «обновленном» виде: «по этапу», «этапный начальник», «этапным порядком» и пр. и пр.

Но эти филологические размышления приходят мне в голову только сейчас, а тогда, осенью 1953 года, когда нас выводили на этап из Соликамской пересылки, я об этом думал со смешанным чувством досады и интереса. Досады, потому что этап — один из самых отвратительных отрезков арестантской жизни. В Устьвымлаге мне везло: за 8 с лишним лет пребывания в нем был всего лишь на двух лагпунктах. А за два с половиной года отбывания срока в Усольяге я уже успел побывать в Усть-Сурмоге, два раза в Соликамской пересылке, и в Мошewe, и в Кушмангортe... А любой этап — это двойной шмон-обыск, это расставание с людьми, это вынужденный отказ от всех мелочей, без которых труден арестантский быт. И неизвестность, которая тебя ждет, и понимание, что, может быть, придется на новом месте начинать с нуля, от общих работ, медленно и без всякой гарантии на успех, карабкаясь к какой-нибудь «придурочной» работе.

Но в этой грозной неизвестности содержится и тот интерес, ожидание, тайна, которая придает жизни арестанта элемент подлинной и как бы взаправдашной жизни. А тут интерес особый, лишенный обычной подавленности и страха. Ведь время-то какое! Мы пережили Сталина! Усатый откинул копыта, в его царстве-государстве идет ха-а-рошенький раздрай-бардак, вот уже и «Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия» и черт-те что может произойти в этом адском котле, где не иначе как сам Сатана перемешивает страшное варево... Это им, наверное, страшно, а вот нам нечего бояться, нищему, как известно, пожар не страшен и куда бы нас ни поволокли этапом, мы, — как формулируют опытные зеки, —

«это блядство — пересидим»... Тем более что нас с ликвидируемого лаг-пункта везут целую группу бесконвойных — 16 зеков. Правда, пропуска наши забрали, везут нас обычным конвоем, но по опыту лагерника знаем — иметь пропуск бесконвойного — это — полусвобода.

Поэтому без обычной этапной понурости мы с другими, менее привилегированными этапниками подходим к ожидающему нас грузовику. Не верьте, что современная цивилизация сделала этап хоть немного комфортней... Если только конвой не самый сволочный и график движения этапа составлен не самым большим мерзавцем, то самый лучший этап — пеший. Когда не спеша идешь-бредешь по мягкой земле и за каждым поворотом дороги открывается что-то новое, часто очень красивое. И каждые два часа — десятиминутный отдых, и дневка или ночевка в этапной «стайке», где можно полежать, посидеть, съесть назначенную горбушку, а то и баланды хлебнуть. В воспоминаниях декабристов я нашел восторженные строки о том, как их перегоняли пешим этапом из Читинского острога в новую, специально построенную тюрьму на Петровском Заводе. Люди, побывавшие в Швейцарии и Франции, писали, что они не видели никогда более красивых мест. Могу подтвердить это. В декабристах побывать, естественно, не удалось, а вот ранней осенью 1974 года проехал и прошел по этому пути во время одного из литературных налетов на Забайкалье.

Ну, а пока нас, чистых и нечистых, конвойных и бесконвойных, заставляют сесть на короточки перед грузовиком, два конвоира с винтовками, к которым почему-то примкнуты штыки, влезают на капот машины, а нас — по настилу, по одному начинают усаживать в грузовик. И не усаживать, а скорее устанавливать. Все мы стоим, тесно прижавшись друг к другу, лицом к конвоирам и, хотя уже и негде ногу поставить, но начальник конвоя кричит: «ближе, ближе, тесней!». Наконец машина нами забита, как спичками спичечный коробок. И тут следует команда: «Садись!». Но сесть-то некуда, невозможно... А дальше идет демонстрация того, что слово «невозможно» должно в словаре русского языка сопровождаться обозначением в скобках: («устар.»). Мы все как-то садимся или же пробуем садиться. И грузовик срывается с места. Не знаю, как было при Строгановых, но сейчас улицы Соликамска представляют из себя хаотическое смешение рытвин, выбоин, ухабов, колдобин и просто глубоких ям. И пока мы доезжаем до окраин города, мы с криками, матом, испытывая адские муки, но каким-то необыкновенным образом и способом утрясаемся. А когда выезжаем на широкий Сибирский тракт, то получаем даже возможность свободней вздохнуть и начать разглядывать оживленную жизнь этого исторического тракта.

А он действительно исторический. В те незапамятные времена, когда купцы и всякого рода начальники пили кровушку из рабочего люда,

тут проходила главная дорога, ведущая из России в Сибирь. И летом, а главным образом зимой шли по ней бесконечные обозы с самыми разными товарами в ту и другую стороны. И, конечно, шли по ней в Сибирь канальники и — ей-ей! — я не поручусь, что им было хуже, нежели нам. Кормили их, во всяком случае, лучше. Дорога тут немошенная, земляная, необъятной ширины. Уже не возили по ней ни меха и бархаты, ни соль, ни дорогую рыбу. А проносились в клубах пыли грузовики с «контингентом», продовольствием, инструментами — со всем, что требуется для двух больших островов Архипелага ГУЛАГ — Усоляга и Нарыблага. Иногда между грузовиками извивались маленькие «уазики» с разномастным начальством.

Старый Сибирский тракт не обладал красотами Забайкалья, но все равно интересно было смотреть на все, не прикрытое тюремной решеткой. Мы проскочили Центральную больницу — Мошево, мы проехали через маленький, но настоящий городок — Чердынь. С каменными зданиями, красивыми, еще не до конца разрушенными церквями. Я еще не знал тогда, что в этом городе, который навсегда останется связанным с именем Мандельштама, я когда-нибудь буду получать настоящий, абсолютно чистый паспорт.

После Чердыни дорога становится уже, ее большая ветка уходит в сторону села Ныроб. Редкие краеведы знают о существовании этого стариннейшего села, зато у тысяч и тысяч людей слово «Нарыблаг» вызывает воспоминания, именуемые «незабываемыми». Мы проехали реку Колву и еще какие-то нам неизвестные извилистые северные речушки, а потом на горизонте появляется широченная водная гладь — Кама. И мы вкатываемся в большое село.

Бондюг — вторая по значению столица Усоляга. Здесь кончается тракт и начинается дорога к главным лагпунктам лагеря. Дорога эта — река. Извилистая, то сжимаемая крутыми берегами, то разливающаяся на километр с лишним, она ведет вверх, на ней нанизаны сплавные лагпункты, из которых с ранней весны и почти до ледостава идет поток заготовленного зеками леса — в плотях и вроссыпь — молью. Бондюг — главный перевалочный пункт на этом широком водном пути. Здесь — почти, здесь стоит большой пятистенный дом, служащий подобием пересылки. И возле него мы с великим трудом отлепляемся друг от друга, почти на коленях или ползком сползаем на землю. Ах, как же она хороша — эта твердая и такая просторная земля!

Уже вечереет, нам предстоит ночевка в Бондюге перед дальнейшим этапом. Конвой быстро нас сортирует, конвойных отводят в большую часть дома, где на окнах решетки, а в углу параша — все, как положено. А нас — привилегированных бесконвойных — заводят в небольшую комнату, откуда мы можем пользоваться свободой нужника во дворе и даже

посидеть на пороге распахнутой двери, любуясь деревенской улицей, детьми, женщинами, каким-то неопределенным ощущением почти свободы. И мы можем достать из-за пазухи, из наших скудных сидоров остатки выданного нам «сухого пайка»: пайку хлеба, кусок вареной трески, твердый как камень обломок рафинада.

Впрочем, в нашей компании опытные арестанты, у которых и деньги есть, и установились деловые отношения с нашим конвоем, ибо в Бондюге есть какой ни на есть, а магазинчик, а самое главное — чайная. Чаю там, конечно, никакого нет, но на всем старом Сибирском тракте известно, что в «Чайной» Бондюга запросто и не оглядываясь на чин-звание продают водку. Уже становится совсем темно, под потолком зажигается тусклая электрическая лампочка, я доел свой очень сухой паек, выпил воды из огромного медного чайника, удобно устроился в углу и благодетельный, всегда сладостный арестантский сон охватывает меня, я не слышу оживления в нашей комнатке и шепотные переговоры с конвоем. Потом меня будят мои этапные корешки. Они возбуждены, глаза блестят и сразу же понятно, что они навещали знаменитую чайную. «Давай, давай!» — суют они мне почти полный стакан водки и кусок нечто мясного. Я выпиваю обжигающую жидкость, с непривычки и забытого вкуса из глаз моих льются слезы, я быстро, по-арестантски, по-этапному, сжевываю остаток котлеты и снова проваливаюсь в сон, где нет ни тюрьмы, ни этапа, ни мыслей о том, что нас ждет завтра.

А завтра нас ждет прекрасный солнечный день, какой только может быть в начале осени в этих очаровательных местах, изуродованных и испоганенных человеком. Маленький катер медленно тащит небольшую открытую плоскодонную баржу. Мы сидим спокойно, развалившись, конвой не проявляет ненужной на реке бдительности. Кроме того, видно, что вчера они вволюшку погуляли за счет своих подконвойных. И они дремали, не обращая внимания на всю необыкновенную красоту мест, по которым мы плыли. А красота эта была удивительна! Только все мне отравляло мое зековское звание. Кама в своем верховье широка и спокойна. Но я знаю, что летом по ней может пройти разве что наша плоскодонка. На полтора-два метра ее дно состоит из топляка и только весной, по большой воде, идут по реке большие баржи с удовольствием для верхних лагпунктов. И голубизна воды не от ее родниковой сущности, а от гниющего дерева. И редко какая рыбешка ухитряется выжить в этой великой и красивой реке, превращенной в сплавную канаву.

Высокие берега Камы потрясают разнообразием и яркостью красок густого перелеска. Казалось, там собраны всевозможные оттенки красных, оранжевых, палевых, коричневых и других красок. Но я знаю, что

эти краски принадлежат мусорному, никому не нужному, бесполезному лесу. Когда-то стоял на этих берегах мачтовый, «корабельный» сосняк. Бронзовые, прямые как стрела стволы, без одного сучка, уходили в небо, как бы вырастая прямо из ослепительно белого ягеля, покрывавшего землю. Этот дивный лес давно свели, спустили модем вниз, добрая его часть легла топляками на дно, а то, что дошло до запани, — продано, пропито, ушло ни на что... А вместо этого леса самосевом выросли искривленные, тонкие стволы ольхи, полугнилой осины, черемухи и волчьего лыка да бузины. И красота этого лжелеса ненатуральная, нездоровая, как румянец на щеках чахоточного...

По дороге размягченный конвой называет нам наше «место назначения». Направляемся мы в большой лагерный поселок, именуемый «Мазунь». Там находится головной лагпункт большого лагерного отделения, имеющего много командировок. Туда нас и волокут, а для чего — про это знает начальство, а зекам должно быть все равно. И через несколько часов на правом берегу реки появляются приметы жизнедеятельности человека, недосброшенные катища леса; недокатившиеся до уреза воды и полусгнившие бревна; сбитые из горбыля какие-то сарайчики неизвестного назначения. А затем уж вырастают архитектурные ансамбли большого лагерного поселка: высокая труба электростанции, зона комendantского лагпункта, пожарная каланча, разномастные бараки, где живут вольняшки, большая, добротно срубленная казарма для ВОХРы.

И маленькая пристань, куда уже собралось в ожидании нас несколько человек. Начальство, в распоряжение коего мы поступаем, и служивые, и просто любопытные. Потому что приход нового этапа — всегда событие, в нем часто можно обнаружить знакомого, узнать про знакомых, просто полюбопытствовать о том, как живут зеки в других местах.

Мы выходим из баржи, садимся — как положено — на корточки и начинаем оглядываться. И сразу же узнаю знакомое лицо! То, что я узнал ее, было неудивительно, хотя и видел-то я ее два раза в жизни. Один раз на первом лагпункте Устьвымлага, когда она уходила на свободу, а второй — в Княжпогосте на 21-м лагпункте, куда я приехал устраивать Жене Гнедину незаконную свиданку с женой. Видел я эту женщину мельком, почти с ней не разговаривал, но невозможно было забыть это резко еврейское и очень незнакомое лицо. Она уже тогда была вольняшкой, замужем за каким-то сплавным мастером. Однажды увидев, забыть это лицо было невозможно. Гораздо удивительнее было то, что она — почти через восемь лет! — узнала меня. Даже фамилию вспомнила. Наклоняясь ко мне, деловито сказала:

— Вас, двенадцать бесконвойных, сейчас повезут на командировку «Рекунь». Это 25 километров по лежневке, и там содержатся только двадцатипятилетники. Инспектором КВЧ там мой знакомый, я ему сей-

час позвоню, и он вас встретит у вахты. Бесконвойные в Рекуни не пропадут — там их всего несколько человек. Зовут моего знакомого Яков Александрович, он у начальства в авторитете, через него дайте мне знать как и что...

Она это все даже не проговорила, а пропугнула, пока какой-то местный вертухай, держа в руках наши формуляры, выкликал двенадцать фамилий. Без больших строгостей мы взобрались на обычный лесовоз, приспособленный для перевозок досок, и полетели по лежневке к ожидающей нас неизвестности. Весь мой устьвымлаговский период жизни прошел на автовывозке леса, и глаз привычно отмечал неровное полотно, разбитость лежней, бракованные нагеля, валяющиеся у кромки дороги. По сторонам лежневой дороги лежали остатки штабелей стрелованного, то есть подвешенного к дороге, леса. Значит, при погрузке на машину наиболее легкие для погрузки верхние ряды со штабелей сняли, а самые трудные нижние ряды оставили. Я тогда еще не подозревал, для кого они эти нижние ряды оставили... Но размышлять на производственные темы было некогда. Наш лесовоз уже подъезжал к вахте Рекуни.

О том, что командировка режимная, мы могли судить только потому, что обыскивали нас без халтуры, со знанием дела, даже прощупывая швы в телогрейках и бушлатах. Когда нам показали барак, отведенный для нас, ко мне подошел ранее стоявший в стороне, не очень похожий на других, человек. То, что командировка режимная, нетрудно было догадаться по тем немногим зекам, что шныряли по зоне. Немолодые, угрюмо-озабоченные, с тем неизгладимым отпечатком, что кладет на внешность людей война, плен, заключение, этапы, тюрьмы, лагеря... А этот человек имел почти вольный вид: донашиваемый, но в хорошем состоянии костюм, чистая белая рубашка. О его арестантской сущности говорила только стриженная голова.

— Ваша фамилия Разгон? Мне о вас звонила Фира, то есть Эсфирь Давидовна. Меня зовут Яков Александрович, я здешний инспектор КВЧ. Придем ко мне, пока ваш этап устраивается.

Мы прошли в торец длинного барака, занимаемого конторой и всякими другими служебными помещениями. Внутренность КВЧ — культурно-просветительной части — была стандартной: груды лежащих на полу плакатов, исписанных лозунгами, призывающими к трудовому энтузиазму; «молнии», извещающие о рекордах некоего зека; полочка с несколькими тощими книжками; банки и склянки с красками. И большой трофейный аккордеон, стоящий в углу. КВЧ было хорошо обжито. На маленькой плите стоял чайник и какая-то кастрюлька с варевом, к стене прибит рукомойник, а рядом чистое полотенце.

— Как вас принято было называть на воле? Раздевайтесь, умойте руки, Лев Эммануилович. Сейчас заварю чай. Настоящий, московский.

Не спеша, осторожными, как бы плавными движениями, Яков Александрович заварил чай, достал блюдечко с маслом и плавленым сыром, нарезал и пододвинул ко мне тарелку с хлебом.

— Наше арестантское дело — прежде всего поесть. Это никогда не следует откладывать. Впрочем, мне вас, кажется, не следует учить?

Значит, Яков Александрович — зек. А как же он стал инспектором КВЧ? Мне по дороге рассказали, что на этой командировке все без исключения двадцатипятилетники по статье 58-1-а — измена Родине. Пятьдесят восьмая не может быть никогда допущена к такой высокоидеологической деятельности как та, которой занимается КВЧ.

— Вы москвич? Расскажите, меняется что-нибудь после войны в нашем городе? Я его не видел уже два года.

Я размягчился, от меня начала отходить усталость от мучительного этапа по сибирскому тракту, от окриков конвоя, шмонов, томящей неизвестности. Чай был свежий и крепкий, хлеб нарезан тонкими ломтями, и давний полузабытый вкус масла... И этот интеллигентный москвич, с которым разговариваешь почти как на московской кухне. Хотя так бесконечно велико различие между милой домашней кухней и этим неистребимо казенным куском барака. Но вдруг я увидел на стене нечто не лагерьное — скрипку. Элегантная, блестя благородной коричнево-красной лака, она аккуратно висела на прибитом к стене куске фланели.

— На что вы загляделись?

— Скрипка. Очень давно не видел. И много лет не слышал. Иногда только в спокойную минуту начинаю вспоминать. И уже начал забывать настоящий звук скрипки.

— Вы хотите вспомнить?

Яков Александрович все теми же плавными движениями достал скрипку; он взял тряпочку, протер и без того блестящую деку скрипки. Потом он привычно приложил ее к плечу и я услышал давно уже позабытые звуки настраиваемой скрипки. И заиграл. Господи! Давно, давным-давно, не помню уже когда я был последний раз на скрипичном концерте — я услышал то, что всегда было и считалось божественным.

— «Чакона»!

— Еще можно узнать, да? Вы правду говорите?

— Правду. Извините, что я так разволновался. Это было так для меня неожиданно: услышать Баха на командировке Рекунь...

— Ну, вы такой для меня неожиданный и необыкновенный гость: Баха узнал... Я вам еще немного поиграю.

Яков Александрович начал играть концерт Чайковского. И не с обычной второй, «выигрышной» части, а с самого начала. Он играл,

я слушал, вспоминая, когда и в исполнении каких великих скрипачей слушал я этот концерт. И при всей моей музыкальной малограмотности и безнадежном любительстве понимал, что это не дилетант-самоучка и не музыкант из ресторанного оркестра, а играет настоящий профессионал. Нет, не в «Савое» или «Метрополе» играл Яков Александрович! Он как будто понял, о чем я думаю:

— Не удивляйтесь, Лев Эммануилович. Я ведь все же не «клезмершпиль», я кончил Московскую консерваторию, и у меня были очень хорошие учителя. Те же, что и у хорошо вам известных великих скрипачей. Только вот великого скрипача из меня не вышло. Оказывается, недостаточно иметь хороших учителей. Дайте я вам налью еще чаю. Не торопитесь. Сегодня у вас все равно не рабочий, а этапный день. Посидите. И для меня ваше знакомство столь же неожиданно и волнующе, как и для вас «Чакона» Баха.

— Да, да! Я начинал почти точно так, как настоящие великие скрипачи — Ойстрах, Коган. Отец — фармацевт, считавший, что в нем самом погиб великий музыкант, делал все возможное и невозможное, чтобы его сын стал великим... Учиться скрипке я стал почти с трех лет. Музыкальная школа, учителя, музыка, музыка, музыка... Я не знал, что такое детство, что значит побегать по улицам, подраться с мальчишками, залезть на дерево. Руки, упаси Бог, руки! И каждая свободная минута — скрипка, скрипка, скрипка... И знаете, я ее не возненавидел, нет. Я играл охотно, меня водили на все скрипичные концерты, и я мысленно играл с каждым из знаменитостей, я вместе с ним небрежно пожимал руку концертмейстеру первых скрипок, обнимался с дирижером, принимал цветы, цветы, цветы... Теперь-то я понимаю, что не только любовь к музыке, но и самое пошлое честолюбие владело мною с самого детства.

Но музыку я любил, пусть не бескорыстно, — а кто ее любит бескорыстно! — но любил. И, наверное, за эту любовь ко мне очень хорошо относились учителя. Берегли меня во время войны, во время эвакуации, на картошку не посылали... И каждый раз, взбегая по лестнице Малого зала, я на вакантных местах мраморной доски золотых медалистов видел свою фамилию...

А, знаете, ведь не учителя, а я сам начал понимать, что не выйдет из меня великого скрипача... Ну, я вам не могу это объяснить. Есть какие-то места в великих произведениях, которые могут сыграть если не великие, то только очень большие музыканты. Одна какая-нибудь фраза, несколько нот. Но по ним не только профессионал, но даже интеллигентный любитель — вот как вы, — догадается, что нет, это не то... Я первый начал об этом догадываться, с ужасом, не веря себе, а потом начал замечать, что это становится ясным и моим учителям. Вот так,

по каким-то малозаметным приметам. Играл в студенческом оркестре первую скрипку, вдруг попросили — так, случайно, для замены, — перейти на вторую. И в показательные концерты перед начальством перестали включать.

Нет, я не пришел в отчаянье, не бросил учиться, продолжал так же много работать. Но начал отчетливо понимать свое будущее. Солиста из меня не получится. И я никогда не стану перед оркестром рядом с дирижером. Ко мне хорошо относятся, может быть, я через какое-то время сумею попасть в приличный симфонический оркестр и даже начать играть первую скрипку. И буду играть долго-долго, пока не дойду до вершины своей музыкальной карьеры, стану концертмейстером первых скрипок. Это для музыканта большое признание, высокая квалификация, но сразу же у меня улетело все представление о моей будущей жизни. Я увидел ее до конца, и в ней не было ни цветов, ни оаций...

Яков Александрович встал из-за стола, он ходил по маленькой комнате, потирая руки, как бы разговаривая с самим собой. Потом повернулся ко мне.

— Простите, ради Бога! Так разволновался, как не волновался ни на суде, когда слушал приговор о моем расстреле, ни в смертной камере. Я ведь не только никому об этом никому не рассказываю, а и себе запретил вспоминать. И вы первый, с кем я об этом говорю. Как и первый, кому я играл. Ведь с музыкой у меня покончено навсегда!

Ну, раз я начал, надо вам до конца досказать историю моей жизни. Из консерватории меня выпустили все же с аттестатом первой скрипки. Но где играть — об этом, конечно, не было сказано ни слова. А в Москве после войны, собственно, один настоящий оркестр. Небольшие оркестры на радио, в кинематографе забиты прекрасными, с именами, музыкантами. И нет никаких шансов попасть туда только что окончившему консерваторию. Можно пойти куда-то переучиваться на педагога и затем в какой-нибудь школе пикиать на скрипке, учить азбуке...

И вдруг случай! Тот самый, о который мы когда-нибудь да спотыкаемся. Не знаю, кто мне удружил, но вдруг вызывают меня в Главное управление филармоний. И предлагают мне ехать во Владивосток, в симфонический оркестр концертмейстером первых скрипок! Понимаете! То, что, как я считал, должно завершить мою карьеру, становится началом! Мне говорят, кто там дирижер, также молодой и очень способный, но было от чего закружиться голове... Понимаю, что оркестр молодой, что это будет великий труд — сколотить, довести до ума. Но ведь интересно! И я себе представил, как через несколько лет можно с таким оркестром приехать на гастроли в Москву, назло всем этим старым хрычам...

Ну, словом, я уехал во Владивосток. И те недели, что поезд меня тащил через всю Россию, все время думал о музыке. Никогда больше я столько не думал о ней. И не только не примирился с моим местом в оркестре, но и начал находить в нем важность, ценность, требующие общего уважения. Кстати, так оно и есть, так оно и должно быть! Наверное, эти дни в далекой дороге были самыми счастливыми в моей жизни. Сидел в углу купе, пил незаваренный кипяток с куском хлеба, и это был самый вкусный хлеб в моей жизни.

А потом наступил Владивосток! Не хочу вам ничего рассказывать об этом невероятном и ужасном городе. Владивосток после войны — это описать нельзя, для этого романист требуется! Конечно, никакого оркестра во Владивостоке нет и никогда не было. Нет ни дирижера, нет и музыкантов — никого и ничего нет! В местной филармонии чуть ли не от смеха лопнули, когда я им показал назначение из Москвы. Стали меня звать «концертмейстер», под этой кличкой я стал известен в городе, когда уже распрощался с музыкой. А местная филармония к музыке и отношения не имеет. Работают у них разные цыганские ансамбли, фокусники, даже пары классической борьбы, еще какая-то шваль... Рассылают их по всему краю, перевыполняют план и очень довольны. Да. А у меня ни жилья, ни работы, ни карточек... Предлагают: походите по ресторанам — там играют оркестрики по несколько человек, может, найдется работа.

Во Владивостоке ресторанов много и разных — город портовый, сбродный. Столовую не найдешь, а коммерческих ресторанов полно. И, конечно, начал я с самого знаменитого, фешенебельного. Пришел днем, музыкантов еще нет, послали к директору. Вот я и встретился, Лев Эммануилович, со своей судьбой. Не смейтесь, не улыбайтесь, это в действительности была моя судьба. Средних лет, прекрасно одетый, черные какие-то пронзительные глаза, не еврей, нет, русский, и фамилия русская.

— И скрипка у вас есть? — спросил он.

— Конечно, есть.

— Приходите вечером со скрипкой, прямо ко мне в кабинет.

Вот и весь разговор был. Вечером пришел, ресторан уже полон, в углу готовится играть оркестрик: две скрипки, кларнет, флейта, аккордеон — симфонический оркестр, только концертмейстера не хватает... На этот раз директор — я его так и стал звать дальше директором — спросил меня: откуда, кто остался в Москве? А в Москве и не осталось никого. Родители умерли, брата убили в начале войны, не женат, детей нет... Он говорит:

— Вы себе представляете свою жизнь здесь? Один из этих скрипачей чему-то учился, другой — самоучка, кларнет и флейта из оркестра

пожарной команды. Аккордеонист — профессиональный уголовник, он и является тем, кто у вас называется дирижером. За места свои трясутся — сыты, пьяны, всегда есть деньги. И немалые. Тут народ гулевой, им ничего не стоит бросить музыкантам сотню-другую... Ну, я всегда заставляю их взять вас, но что вы с ними будете делать, что играть? Мурку? У вас с собой скрипка? А ну, сыграйте. Что хотите. И такое будут слушать гости нашего ресторана? Ну, не плачьте, концертмейстер... У всех попавших сюда слезы должны высохнуть навсегда. Или же они будут литься без остановки до конца жизни.

Я вам поверил, Яков Александрович. Навсегда и сразу. У меня иначе не бывает, и поэтому я жив и жить собираюсь. Еще ни разу не ошибался. Так вот: забудьте о музыке. Я вас возьму к себе своим помощником. И буду приучать к работе. Пойдет это у вас — будет у вас человеческая, достойная жизнь. Не пойдет — что-нибудь для вас придумаю.

Я ему говорю: — Петр Петрович, — так его звали, — у меня нет здесь ни жилья, ни прописки, ни карточек и ни одного знакомого человека.

— И не нужно! У вас сегодня будет хорошая комната, будет прописка, будут и карточки, которые отдадите какой-нибудь старушке, которая вам белье станет стирать. Вам карточки не потребуются.

Я посмотрел на свою скрипку. Это была очень хорошая, настоящая итальянская скрипка, погладил ее, уложил в футляр и понял, что навсегда с ней прощаюсь.

И стал помощником у директора ресторана Петра Петровича. Знаете, Лев Эммануилович, этот человек перевернул всю мою жизнь, она навсегда оказалась связанной с ним, а я про него ничего не знаю, до сих пор не знаю. Он был из тех, кому никогда не задают вопросы. И я не задавал. Откуда, где учился, как в торговле попал — ничего не знаю. Но был спокойный, интеллигентный, начитанный, мог с усмешкой вставить в разговор строчку из Пушкина или Толстого процитировать. Никогда не ругался. Даже с самыми последними, с беспросветной пьянью. Только взглянет на него — и тот как побитая собака. И все знают: скажет кому надо — пропадет человек и никто никогда его не найдет... Страшный был человек Петр Петрович.

Но вот что самое удивительное: во мне, оказывается, дремал талант делового человека! Удивительно! Всегда считал себя непрактичным, неумейкой, ни с кем по-хорошему договориться не умел. А тут! Петр Петрович был человек таинственный. Послевоенный голод, а у него есть все и в любых количествах. Даст мне толстую пачку денег и скажет, куда и кому отвезти. А те все привезут и без всякой хитрецы и обмана. Не сразу я понял, что были у него и филиалы. В больших, хороших, вроде семейных квартирах. А там совсем другие порядки и другой народ — не

кое подобие старого и уютного дома. В действительности — такой же бордель, да похуже. Только люди там другие.

А сам жил так, без всякой особой роскоши. Двухкомнатная квартира, ну, хорошая квартира, но без всяких там цацек. Одинок, не женат. Прислуживает какая-то старуха. Дома был у него раза два, но заметил: никаких следов женщины, две полки книг — и все только исторические. В городе знали: Петр Петрович все может! Если захочет. А вот отчего зависело его хотенье — я не уяснил себе до сих пор. Хотя потом стал догадываться.

В первый раз, когда он открыл ящик стола, достал оттуда толстую пачку денег и сказал: это вам, — смутился. Зачем? И так живу ни в чем не нуждаясь, как никогда не жил в жизни... А он мне:

— Деньги вам нужны не для еды и тряпок — это все у вас есть. Они вам нужны для свободы. С ними — вы свободный человек. И кусок власти имеете.

Через полгода я у него был не просто заместителем, а ближайшим помощником. Иногда он уезжал в Москву, недели на две-три, и оставлял меня. Никогда меня не проверял, но понимал я, что мне он верит. Не то, что безгранично — безгранично не верил никому, а просто верит. А еще через два месяца назначают Петра Петровича директором треста ресторанов всего Владивостока, а меня вместо него. Не удивился я этому. Уже понял, что судьба моя навсегда, до конца жизни связана с ним. Как-то спохватился, что его словами, его интонацией разговариваю. Никогда, ни при каких обстоятельствах не забывайте обедать, говорил он. — И сейчас мы будем обедать. Подождите меня.

И судки инспектора КВЧ были эмалированные, и прибор на столе мельхиоровый, и все немудреное лагерное его хозяйство, которое я разглядывал, пока Яков Александрович ходил за обедом, было добротным, настоящим, почти домашним. Потом он пришел, поставил судки на плитку, стал накрывать стол.

— Обед, конечно, больничный, Яков Александрович?

— Конечно. И не просто больничный, а врачебный. Чего ж вам объяснять — старому зеку.

— Яков Александрович! У вас, извините, какой срок?

— Как и у всех на этой командировке — двадцать пять, пять еще по рогам, пять по зубам — лишенец. Вы хотите знать, как же я стал инспектором КВЧ?

— Да. Если вам это удобно.

— Это пятьдесят восемь нельзя работать в КВЧ. А у меня абсолютно бытовая статья: хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. С такой статьей здесь, на командировке, всего

шесть человек. А я, когда этапом шел сюда, уже знал, что не буду на общих. Это мне на приемке этапа сказала Фира Давидовна.

— А кто это такая? Я ее немного знал по старому моему лагерю — Устьвымлагу. Она там срок отбывала, потом стала вольняшкой, замуж вышла.

— Здесь она еще пару раз выходила замуж. На этот раз очень удачно. За начальника сплавконторы. А сама работает секретарем у начальника производства. Очень влиятельный человек Фира Давидовна. И умный. Позвонила мне на вахту, сказала про вас, она добрая женщина и нравится мужчинам, хотя и страшна как смертный грех... Ну, давайте обедать, за обедом и доскажу свою незаконченную еще историю. Про самое главное в жизни уже сказал, а про другое — не буду вас терзать долгими рассказами.

Ну, а дальше жизнь понеслась, как на перекладных. Только полгода пробыл Петр Петрович директором ресторанного треста. А затем уезжает в Москву.

— И вы становитесь на его место?

— Почти угадали. Ну, не на его место, я же беспартийный. Но начальником он поставил такого дуrolома, который мне только что калоши не мыл. И когда я ему ежемесячно так небрежно давал пачечку денег, готов был руки мне целовать. Да, вот там я и начал понимать, за что Петр Петрович ценил деньги. Не за свободу, нет, за власть. Ах, как же кружит голову власть! Понимаете, все продается, на все есть своя цена. Вот встретил одного очень понравившегося мне человека: он знал всех птиц, о каждой мог рассказывать — часами можно было слушать, дивно умел петь, как эти птицы. И все плакался, что уничтожают какой-то островок леса на краю города, где живет множество этих птиц. Я его спрашиваю: «А если бы вы председателем райисполкома там были?» — «О!» — говорит. Ну, вот я его и назначил председателем этого райисполкома.

— Как так назначили?

— Это вам долго объяснять. За деньги. За деньги назначил. Хотел сделать секретарем райкома, да стаж у него что ли не хватило. Хотя и через это можно было проскакать. Но я знал, что долго не задержусь в городе, что Петр Петрович меня заберет. И точно. Через 8 месяцев меня вызывают в Москву на повышение квалификации. И по телефону Петр Петрович мне коротко говорит: назад не вернетесь...

Квалифицировался я недолго. Петр Петрович уже был директором московского ресторанного треста. А я сразу же стал директором районного ресторанного треста. Так началась моя московская жизнь. Странная это была жизнь. Своими ресторанами я мало занимался. Там у меня были свои люди, кого мне Петр Петрович дал, да и сам научился подби-

рать нужных и способных. Вот они и работали. А сам я — как и раньше — в помощниках у Петра Петровича был. Главным его помощником. Кассиром, что ли. Потому что через меня, и только меня, шли деньги.

— Кому?

— Тем, кто командует всем и всеми. Конечно, никаких фамилий я называть не буду — вы их большинство знаете. А некоторых и не знаете, а они были самыми главными, хотя и фамилии их нигде и никогда не появлялись.

— Неужели такие большие деньги были?

— Большие. Очень большие. Они как бы стекались маленькими, почти незаметными ручейками, а потом уже соединялись.

— Яков Александрович! Понимаю, что незачем мне вас обо всем этом расспрашивать. Но ответьте мне на один вопрос: вы говорите, что это все были большие люди, разве они жили уж так плохо? Как во время войны жили — не знаю. А как жили до тридцать седьмого — знаю: ни на каких уровнях начальство не нуждалось ни в чем.

— А они и не нуждались ни в чем! У них было все: прекрасные квартиры, великолепная обстановка — лучшее из трофейного имущества им доставалось, казенная машина со сменными шоферами, а уж о еде и говорить не приходится. Все у них было. Вот денег было им мало. Зарплата жесткая, ну еще кому конвертик дадут. Много разговоров было про эти конверты, но денег там было и не так уж много.

— А зачем им нужны были деньги? Да еще большие.

— Вы, Лев Эммануилович, человек из прошлого. Как ушли из ваших двадцатых да начала тридцатых, таким и остались. Вот у вас был очень короткий перерыв между сроками, съездили в Москву, поработали в провинции. Что вас удивило по сравнению с прошлым?

— Сначала какие-то пустяки. Женщины — партийные работники, а красят губы, носят кольца и сережки в ушах...

Этот длинный, случайно возникший разговор вдруг всколыхнул во мне воспоминание об этом маленьком, совсем коротком периоде моей жизни, когда в провинциальном городе мы с женой пробовали сколотить какую ни на есть, а жизнь... Да, поразили меня партийные дамы с крашеными губами и стекляшками в ушах — Рика мне говорила, что не стекляшки это, а бриллианты... Поразило, что старый и всеми уважаемый коммунист, глазом не моргнув, предложил мне крупную литературную работу, а потом, назвав мне очень крупный по тем временам гонорар, спросил:

— Вас устраивает размер гонорара?

— О, да, безусловно! Очень вам благодарен.

— В договоре будет указан гонорар вдвое больше этого. И эту половину вы отдадите мне.

Сказал так просто и обыденно, как будто речь шла о чем-то само собою разумеющемся. И я согласился. Как соглашался потом на то, чтобы писать лекции лекторам крайкома, писать целые куски в научных диссертациях, писать для других статьи... За моими плечами были уже годы тюрьмы и лагерей, я уже почти вышел из той иллюзорной жизни, какой жил с детства, меня трудно было удивить чем-либо в том, что происходит. Я знал свое безусловное право в поте лица своего добывать хлеб любыми способами, если они не противоречили моим, еще существующим во мне законам совести.

— Вы почувствовали себя в другом мире, да?

— Да. Почувствовал себя в другом мире.

— Это был и для меня другой мир. Совершенно другой, хотя я не был коммунистом, как вы, наверное, не был журналистом, имел очень малое соприкосновение с политикой. Был музыкантом, и все у меня было связано с музыкой. Конечно, прозревать начал еще в Москве, а окончательно зрячим стал во Владивостоке, а еще больше в Москве.

— Так все же, Яков Александрович, зачем этим людям, на которых вы работали, нужны были деньги? Все у них было ведь: богатство, власть.

— Власти у них не было, вот в чем дело. При Сталине власть была у него одного. Все остальные имели только то, что он им давал, и не больше.

А хотелось больше! Даже старое поколение, большую часть жизни прошедшее в бедности, хотело другого. Кроме старой и ненужной ему жены, — молодых, все умеющих девиц; возможность иметь, кроме своей большой и скучной казенной квартиры, еще одну — небольшую, уютную. А тут подрастало молодое поколение, которое жаждало всего, а не имело ничего. Конечно, была у начальства и прямая власть — позвонить, написать, приказать. Но при Сталине это было опасно, никто не мог поручиться, что не продадут. А деньги — самое надежное. Взявший деньги сделает все и тебя не заложит — себе дороже...

Вот в таком странном мире жил, стыдно сказать, а увлекся даже этой жизнью. Сам-то я жил весьма скромно, но вот это верчение, разгадки тайных ходов, какое-то невероятное злорадство: смотрю на газету с важным портретом, читаю его идиотскую и лживую речугу и вспоминаю, каким он был вчера, позавчера, несколько дней назад, когда я ему клал в специально раскрытый ящик стола толстый конверт с деньгами...

— Но вот кто-то из них вас заложил!

— Да никто не заложил. Погорели совсем по-глупому, все началось с какого-то маленького служащего склада, который посчитал, что ему недодали...

— И на вас вышло НКВД?

— Нет, они к нам отношения не имели. И мы к ним. Это была совсем другая система, с нами не соприкасавшаяся. У них все свое было, а горели мы самым обыкновенным способом, через мелких работников милиции.

— А они не были куплены?

— Нет, конечно. Если всех покупать, дня не продержишься. Вот так закончилась моя московская жизнь. Не приехал туда со своим камерным оркестром из Владивостока, как думал когда-то...

— Вам не тяжело было, Яков Александрович, ходить в концерты в Большой зал?

— Ни разу не был. Ни на одном концерте. Приезжали на гастроли такие скрипачи, чьи фотографии когда-то готов был целовать. Ни разу не был. Отрезал это от себя навсегда. Иначе жить не сумел бы. Только раз не выдержал, купил очень хорошую старинную и очень дорогую итальянскую скрипку. Просто так. Дома иногда брал ее, протирал и снова прятал. Ни разу не провел смычком. Знал — заиграю на ней, вся моя жизнь пойдет прахом.

— Вот эта скрипка?

— Нет, что вы! Ту забрали. Ведь меня с конфискацией... А эту я тут достал, привезли одному по моей просьбе.

— А ваш злой или, может, добрый гений — Петр Петрович? Он попал вместе с вами?

— Если бы такое случилось, я сейчас не разговаривал бы с вами. Нет, он даже свидетелем не проходил, вообще остался в стороне. Хотя я понимал на следствии, почему мне никто про него ни одного вопроса не задал. Даже о том, как я в Москве на такой работе очутился. Процесс был большой, да в нем никого из крупных не было. Я и в тюрьме получал все указания. Все взял на себя, все. Не только, конечно, не назвал ни одной фамилии, но и выручал отъявленных мерзавцев, готовых меня утопить. И когда мне передали: не бойся, останешься жив — твердо в это верил, не сомневался. Из двадцати семи человек — шесть к высшей мере. И меня, конечно. Стою, слушаю смертный приговор, смотрю на судью и думаю: сколько тебе дали? А самому интересно: кто меня заменяет в этой работе?

Ну, не скажу, чтобы четыре месяца в смертной камере были приятными. Не от страха — был уверен, что все сработает, а вот жизнь смертника — да, вы про все это знаете. Заменяли, и уж по назначению в лагерь понял: не пропаду и в лагере. Усольлаг не Колыма, не Ухтпечлаг. Через несколько дней на этой командировке вызвал начальник, назна-

чил помогать начальнику КВЧ. Как видите, живу не плохо для такого арестанта. Фира Давидовна мне иногда денег подбрасывает, прикупает в вольном ларьке. Может быть, вам требуются деньги, Лев Эммануилович?

— Спасибо. У меня есть сколько нужно. Я ведь тоже не девушка, не фрей, рога давно уже сдал в каптерку... Ну, живете вы спокойно, но это же лагерь и никто из нас не знает, чем обернется завтрашний день. И даже если все так, как сейчас у вас впереди — четверть почти века, ссылка, — вы и при этих мыслях сохраняете спокойствие?

— А я и не собираюсь свой срок полностью отсидживать. У вас десятка. Дай вам Бог освободиться раньше. Но я еще раньше буду на свободе. Уверен. Не в себе, в Петре Петровиче, во всей этой хорошо смазанной и отлично действующей машине.

— Слушаю и не понимаю: почему вы так уверены? Ну, в благодарность вам сохранили жизнь, здесь помогают, такое в законе и у других категорий арестантов есть. Но там-то вы не нужны уж никому, вы отработанный пар.

— Там я очень нужен. И на этом, а не на каких-то сентиментальных чувствах Петра Петровича основан мой оптимизм. Я очень редкий человек, я верный человек, Лев Эммануилович. И в наше время такие под заборами не валяются. Я им еще нужен, я им пригожусь. Не в одном деле, так в другом.. А заметили вы, что все же неистребимо в нас сидит наше прошлое? Совсем не арестантский разговор ведем. Вас поместят в барак бесконвойных — есть тут один такой маленький, для пожарников поставили. Скажете мне, что нужно из постельных принадлежностей, я вам все это организую.

— Благодарствую, Яков Александрович, я ведь тоже почти в паханах хожу. Все найдется. Спасибо за хлеб-соль, за московский разговор, за музыку.

— Вы первый, для кого здесь играл. Поиграть вам еще? Скажите, что хотите услышать?

— Вот — только не удивляйтесь — хотел бы услышать вальс из «Елки» Ребикова и мелодию Глюка. Но вы их, наверное, не играете?

— Нет, могу сыграть. Но ведь это не скрипичные вещи, их обычно играют солисты-флейтисты.

— Мой отец играл мне их на флейте.

— Ну, что это вы, дорогой, до слез вас довел. Не будем возвращаться к музыке, она дает радость, но не дает счастья.

Это был, собственно, мой почти единственный разговор с Яковом Александровичем. Такой разговор. А дальше началась моя лагерная жизнь, она оказалась менее комфортной, нежели мы думали, когда плыли на Мазунь. На этой командировке бесконвойные требовались,

чтобы ночью грузить на лесовозы недобранный днем подтрелеванный к лежневке лес. Наша бригада выходила на работу в восемь вечера, и почти до утра мы ездили по лежневке, вытаскивали из снега бревна. Работа эта была тяжелая, грязная, мы на час-другой разводили большой костер и сушились, немного подремывая. В зону приходили уже после развода, быстро съедали полуостывшую баланду и немедленно заваливались спать. Я давно уже не был на тяжелых работах, с непривычки уставал, с трудом заставлял себя раздеваться, мыть котелок и миску, смывать с лица и рук копоть костров.

Иногда ко мне перед выходом на работу заходил Яков Александрович, по выходным дням я иногда к нему приходил, и он меня угощал настоящим крепким чаем. Но больше мы никогда не возвращались к тому, о чем разговаривали в тот, самый первый день нашего знакомства.

К нему относились на командировке хорошо, хотя там было немало карателей-полицаев и другого малосимпатичного человеческого материала. Но инспектор КВЧ никогда и никому не отказывал в листике бумаги для письма, некоторым сам писал письма, он был услужлив без лагерного подхалимства, и арестантская публика, очень тонкая на людей, считала, что «еврей из КВЧ» — свой, не сука, не лагерный придурок.

Я недолго, месяца полтора пробыл на режимной командировке. Приобретенная мною в лагере специальность нормировщика, не раз меня уже выручавшая, и на этот раз меня вытащила «из общих». Однажды меня отставили от нашего маленького развода, сказали традиционное «с вещами» и отправили на Головной лагпункт на Мазунь. Там в учетно-распределительной части мне сказали, что пришел на меня наряд. И совсем близко — через реку.

На той стороне Камы, где стоял полуразрушенный старый лагпункт «Чепец», создавалось новое и большое лагерное отделение. Туда отправлялась бригада строителей, а я назначался на Чепец нормировщиком.

Перед отъездом я зашел попрощаться с Яковом Александровичем. Как всегда, он был ровно-спокоен.

— Ну, что ж — поживем еще на этой странной земле. Хотя и не вижу для себя в этом большого смысла. А для вас — смысл большой, и я верю, что у вас есть будущее. Сказал бы: «Свидимся в Москве», да это выглядело бы смешно.

1 ноября 1953 года наша бригада переходила Каму. Снега совершенно не было, река только что замерзла и лед был такой тонкий и прозрачный, что виден был каждый камешек на дне, и казалось: мы идем как волшебники по воде. Наши сидора висели за спиной, каждый из нас держал — совсем как канатоходец — длинную жердь, чтобы удер-

жаться, если провалимся в полынью. Лед под нами прогибался, и мы шли, растянувшись цепочкой, а конвой нервно нам кричал: «Не останавливайтесь, быстрее, быстрее!»

Лишь через восемь месяцев я снова попал на Мазунь — в командировку. Я остановился у пожарников — те тоже были бесконвойными и жили в своем пожарном сарае, и не поленился найти Фиру Давидовну. На мой вопрос о Якове Александровиче она многозначительно поджала губы и ответила:

— Два месяца назад отправлен в Соликамск. Вызван на переследствие.

Слово «переследствие» может иметь и злоеший смысл. Но только не для человека, который дошел до высшей точки наказания. Неужели он действительно был таким нужным? И верность находится в такой цене?

Вот уже тридцать лет, как я не на Мазуни, не на Чепце, Усть-Сурмоге... Я живу в Москве. Я никогда и ни у кого не расспрашивал о Якове Александровиче. Во-первых, не у кого, у меня не было никаких точек соприкосновения с тем миром, где живут такие, как Петр Петрович. А главное — не хотелось. Я почти уверен в том, что он освободился, что не пропала его верная служба, что он если не в Москве, то где-нибудь в теплом и хорошем месте прожил до своего конца лучше меня. Нет, не лучше, конечно, сытнее, благополучней.

Я живу лучше и счастливее. В главном, во многом, и еще потому, что часто хожу в концерты. И музыка дает мне радость и неуловимое ощущение счастья. Но иногда, когда дирижер или солист подходит пожать руку концертмейстеру первых скрипок, меня на мгновение охватывает глубокая печаль.

Много есть печальных повестей на свете, для меня к ним принадлежит и эта повесть о несостоявшемся концертмейстере первых скрипок.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед раскрытыми делами	3
Концертмейстер первых скрипок	29

РАЗГОН Лев Эммануилович

ПЕРЕД РАСКРЫТЫМИ ДЕЛАМИ

Редактор Б. Д. Минаев

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 18.07.91. Подписано к печати 16.08.91. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,04. Тираж 84000 экз. Заказ № 736. Цена 20 коп.

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — POESIA»;
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
З. ГИППИУС «Последние стихи»;
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;
А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;
Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;
Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»
П. СТРУВЕ «Скорее за дело!».